

18+

Пепел и вереск

роман

Катерина Калиманова



Катерина Калиманова

Пепел и вереск. Роман

«Издательские решения»

Калиманова К.

Пепел и вереск. Роман / К. Калиманова — «Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Писатель Нэш приезжает в заброшенную усадьбу на норвежском фьорде — дописать книгу и отпустить умершую жену, чего он так и не сумел. Но дом по имени Вдовий Плёс хранит свою историю: дочь богатого рода Айна и найдёныш с гор Рун поклялись друг другу навек. Их разлучили; Рун вернулся через семь лет — богатым, страшным, одержимым. Любовь без меры сжигает дотла — но из пепла прорастает вереск.

© Калиманова К.

© Издательские решения

Содержание

ПРОЛОГ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРИБЫТИЕ	7
ГЛАВА. Паром	7
ГЛАВА 2. Таксист	14
ГЛАВА 3. Дом на краю ветра	19
ГЛАВА 4. Первая ночь	26
ГЛАВА 5. Найдёныш	30
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВЕРЕСК И КАМЕНЬ	34
ГЛАВА 6. Изгнание	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Пепел и вереск

Роман

Катерина Калиманова

*Эта книга — моё первое детище.
Я пишу её бессонными ночами
и тишиной —
той самой, в которой слышны голоса.*

Пусть она живёт дольше меня.

*Всем, кто ищет свет
на пепелище.
Всем, кто, как вереск,
прорастает заново.*

© Катерина Калиманова, 2026

ISBN 978-5-0070-4137-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОЛОГ

Вдовый плёс

Я помню всё. Даже то, чего не было. Даже то, что ещё случится.

Есть дома, которые не отпускают. Можно уехать. Можно сменить имя. В чужой постели, под чужим небом, в час перед рассветом — вы услышите скрип. Сначала покажется: это ваш собственный пол. Потом — ветка за окном. Потом вы узнаете шаг. Чужой, но знакомый. Дом ждёт. Дом всегда ждёт.

Меня звали Вдовый Плёс. В этом имени больше правды, чем нравилось моим жильцам.

Я стоял на чёрной скале у серого фьорда. Сто лет. Двести. Триста. Время здесь шло не вперёд, а вглубь. Я слышал, как рождаются. Как уходят. Как старятся у одного окна. Я знал имена тех, кого вслух не называли никогда.

Я помню женщину, что дала имя найдёнышу. Мужчину, что не умел отпускать. Девочку, которая не знала, кто она. И ещё одну — ту, что пришла последней.

Под западным окном у меня был расколот камень в кладке. Трещина шла наискось, в палец шириной. Когда ветер заходил с моря, она пела — тонко, на одной ноте. Никто, кроме фру Кари, её не слышал. И ещё была половица. Третья от окна. Плотник, клавший пол, давно промахнулся рубанком: остался шрам — наискось, в полпальца. Каждый, кто шёл к этому окну, на третьем шаге задевал его пяткой. Дерево отзывалось. По звуку этого ответа я узнавал, кто идёт.

Три шага к окну.

Три шага обратно.

Так ходила хозяйка, ждавшая мужа из моря. Так — её невестка. Так — та, что носила сланец на верёвочке под платьем. Так — другая, в чьём теле спал чужой голос.

Меня больше нет. В январе пришёл человек со скипидаром и спичкой. Я узнал его по третьему шагу. Он шёл по комнатам, как идут к причастию. Он положил ладонь на трещину под западным окном, и она в последний раз спела для него. Потом он зажёл.

Ветер развеял мой пепел над фьордом. Вереск, что рос у моего порога, выжил. Он зацвёл следующим летом — низкий, лиловый, медовый. Когда вы пройдёте мимо чёрной скалы, в его шелесте будет слышно:

Три шага к окну.

Три шага обратно.

И тишина.

В этой тишине, если стоять долго, кто-то снова начинает идти к окну.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРИБЫТИЕ

ГЛАВА. Паром

Она умерла в ноябре. И прежде чем я перейду к тому, что было после, — к парому, к старику с льдистыми глазами, к чёрной скале, к дому, чьё имя я ещё не имел права знать, — мне придётся рассказать о ноябре. Я делал это много раз. Всегда в третьем лице. Не потому, что прячусь, а потому, что иначе строчки рвутся и пальцы перестают слушаться. Так уж устроены инженеры: когда невыносимо смотреть прямо — отойди на шаг и обведи рамку.

Позвольте мне начать оттуда.

Это была не она. Не его Лисбет.

Женщина на больничной койке была слишком лёгкой, слишком прозрачной, словно её тело уже забыло, как удерживать душу. Простыня лежала почти без складок — лишь там, где острые, как птичьи косточки, локти прижимались к матрасу, ткань едва прогибалась.

Нэш сидел у окна пятый час. Может быть, шестой. В хосписе время не шло — оно просачивалось, как вода сквозь пальцы, оставляя только холод и какой-то постоянный, тупой стыд за то, что он ещё дышит.

За окном был ноябрь. Голые ветви старого клёна царапали стекло — тихо, методично, как стрелка плохого хронометра. Жёлтый свет уличного фонаря дробился о тюль и ложился на стену длинными неровными полосами. Где-то по коридору катили кровать; колёса проскрипели, замерли, снова проскрипели — и стихли.

Он обещал быть рядом. Он не выйдет. Это было всё, чем он ещё располагал, — обещанием, которое он держал, как держат верёвку над пропастью: не из веры в её прочность, а потому, что больше не за что.

Лисбет пошевелилась.

Едва. Дрогнули веки. Пальцы правой руки — длинные, без колец, потому что она велела всё снять ещё в августе, когда руки начали отекать, — слабо сомкнулись на одеяле. Он подался вперёд.

— Лис? — голос вышел хриплым; он не пользовался им несколько дней. — Ты здесь?

Она медленно открыла глаза.

Это были всё ещё её глаза — тот самый тёмно-янтарный оттенок, который он когда-то, в университетской библиотеке, сравнил с цветом старого виски, на что она ответила, что он слишком пафосный, чтобы быть инженером. «Тебе надо книги писать», — бросила она тогда. Бросила походя — и он зачем-то запомнил. Все годы.

Морфий притуплял боль, но не трогал рассудок. Она уходила в полном уме. Это было её последнее условие. Условие, которое она не обсуждала.

— Я всегда здесь, — прошептала она; губы, сухие и потрескавшиеся, сложились в подобие усмешки. — В отличие от тебя.

Он не сразу понял.

— О чём ты?

— Ты всё время где-то. — Она говорила медленно, выбирая воздух между словами. — Не здесь. Не со мной. Ты уже там, в будущем. Без меня. Я вижу, как ты смотришь в окно. Ты уже хоронишь меня, Джеймс.

В горле встал ком. Он хотел возразить — что рядом, каждую минуту, каждую секунду, — и не смог. Она была права. Он действительно думал о том, как будет жить дальше. И от этих мыслей его тошнило.

— Прости.

— Не за что. — Её пальцы — холодные, тонкие — коснулись его руки. — Так бывает. Никто не умеет быть здесь до конца. Это нормально.

Она замолчала, собираясь с силами. Он видел, как тяжело ей дышать: грудная клетка вздымалась и опадала с тихим присвистом. Болезнь съедала её полтора года. Сначала кашель, на который она не обращала внимания. Потом визит к врачу. Анализы. Слово, после которого все остальные слова стали лишними. Метастазы. Неоперабельно. Они прошли через всё — химия, ожоги, короткие ремиссии, длинные рецидивы, — и однажды утром усталый врач отвёл его в сторону и произнёс ту самую формулу: «Готовьтесь».

Готовьтесь. К чему готовиться, когда у тебя забирают половину дыхания?

— Джеймс. — Она снова собрала голос. — Пообещай мне.

— Всё что угодно.

— Не говори так. — В её голосе ещё держалась та упрямая Лисбет, что всегда смотрела на него с лёгкой усмешкой, когда он нёс чушь. — Я попрошу то, что ты не захочешь дать.

В палате стало тихо. За стеной гудел медицинский прибор, ровно и равнодушно.

— Я хочу, чтобы ты отпустил меня, — сказала она просто, без слёз, без усиления, так, будто просила закрыть окно. — Не запомни. Не заморозь. Не сделай из меня культ. Я не хочу быть твоим призраком, Джеймс. Я хочу, чтобы ты жил. А не помнил.

Он молчал. Не потому, что не хотел отвечать. Потому что слова застряли где-то на полпути между сердцем и горлом, и каждое из них было острым.

— Обещай.

И он пообещал. Слова вырвались сами, неловкие, как чужая одежда. Он произнёс их, глядя ей в глаза, и какая-то часть его души — та, что ещё умела верить, — попыталась сделать обещание настоящим.

Другая, более глубокая, уже знала. Он не умеет отпускать. Он никогда не умел. Ни вещи, ни книги, ни даты. Отпустить Лисбет означало бы согласиться с тем, что её больше нет. И на это он не был способен. Не ради неё. Не ради чего бы то ни было.

— Хорошо. — Она прикрыла веки. — Теперь посиди. Я устала.

Он держал её руку, пока она засыпала. Дыхание становилось всё тише, всё реже. Ритм сердца на мониторе замедлялся; каждый новый пик давался прибору всё труднее.

Нэш смотрел на её лицо и пытался запомнить — каждую черту, каждую веснушку на левой щеке, которые в их первое лето он целовал по очереди, пока она смеялась и говорила, что он считает их, как бухгалтер.

Он не молился. Он давно разучился. Но в ту ночь сидел и беззвучно повторял в темноту: «Дай ещё. Час. Минуту. Я не готов. Я никогда не буду готов».

Темнота не отвечала.

Лисбет ушла на рассвете.

На мониторе запищал сигнал — ровная, пронзительная нота. В палату вбежали две медсестры в голубом. Кто-то что-то говорил, но он не слышал слов. Он стоял у стены, прижавшись лопатками к холодному кафелю, и смотрел, как чужие руки делают над её телом то, что положено делать в таких случаях.

Потом всё стихло.

Тишина была другой. Не той, что секундой раньше. Эту тишину он запомнил так, как запоминают ожог — кожей, не памятью.

Врач сказала ему стандартные слова. Он кивнул. Слёзы придут позже. Сейчас он просто стоял.

Лисбет лежала спокойная, какой он не видел её много месяцев. Боль ушла. Тревога ушла. Осталось лицо — отстранённое, словно высеченное из бледного мрамора, — и лёгкая тень в

уголках губ, как будто она только что увидела что-то простое и хорошее и не успела никому об этом сказать.

Он наклонился и поцеловал её в лоб. Кожа была прохладной.

— Прости, что не смогу.

Он снял с её безымянного пальца тонкий золотой ободок — она велела всё снять, и он снимал, методично, как разбирают часы, — и надел его себе на мизинец. Кольцо ходило свободно. Он сжал кулак, чтобы оно не соскользнуло.

В коридоре было пусто. Только гудели лампы дневного света. Он прислонился к стене и медленно опустился на пол. Он не знал, сколько так просидел.

Где-то за стенами хосписа просыпался город: трамваи, метлы, булочные. Из вентиляции тянуло свежей выпечкой. От этого запаха его замутило сильнее, чем от всего прочего.

Он встал. Поправил пиджак. Пошёл к выходу. У него было много дел: похороны, телефоны, бумаги. Он сделает всё это методично, точно, без единой слезы — потому что слёзы он уже разучился контролировать, а пиджак, телефон и подпись — ещё нет.

Так это выглядит, когда я отхожу на шаг и описываю.

Когда я не отхожу — короче. Я снял с её пальца кольцо. Я надел его на свой мизинец. Я ношу его до сих пор.

И в этом — единственная правда, которая у меня осталась.

В ту ночь я не мог заснуть.

Это требует уточнения. Я не мог заснуть в нескольких предшествующих ночах тоже — в ночь перед похоронами, в ночь после, в ту ночь, когда я подписывал бумаги у нотариуса и от слова «вдовец» в официальной графе у меня свело челюсть, — но все они были бессонницами деловыми, если так можно выразиться: организм не спал, потому что у него были дела. Телефоны. Некрологи. Цветы, которые я заказал не те и которые пришлось менять в последний час, потому что Лисбет ненавидела лилии, а я это забыл и вспомнил, только когда увидел букет, и ненависть к собственной забывчивости оказалась сильнее горя.

Эта ночь была другой. Дел не осталось. Всё было сделано, подписано, закопано. Квартира была пуста — той окончательной пустотой, которая наступает, когда из жилища убрали не человека, а все следы его присутствия. Соседка — та, что приходила поливать цветы, — ещё днём собрала Лисбет вещи в три картонных коробки и составила их у двери. «Когда будете готовы, мистер Нэш, — сказала она. — Не торопитесь». Коробки стояли ровно, подписанные маркером: «Одежда», «Книги», «Прочее». Я не стал проверять, что внутри. Я знал, что проверю. Но не сегодня.

Я лежал в темноте, в нашей спальне, на своей стороне кровати. Её сторона была заправлена — аккуратно, с больничной тщательностью, с какой это делала та же соседка, заходившая убирать. Простыня натянута, подушка взбита, угол одеяла подвёрнут. Всё безупречно. Всё невыносимо. Я лежал и смотрел в потолок, и потолок был тем же потолком, на который мы смотрели вдвоём тысячу ночей, но трещина в штукатурке над люстрой — та, которую Лисбет называла «наша река», потому что она разветвлялась ровно на два русла, — была теперь просто трещиной, и я не мог вспомнить, когда именно она перестала быть рекой. До болезни? После диагноза? В какую из ночей Лисбет посмотрела на неё в последний раз?

Часы на кухне показывали три. Или четыре. Я не вставал проверить. Я лежал и считал удары собственного пульса в подушку — тупые, ровные, ничем не оправданные.

Потом я встал.

Не по решению. Тело подняло себя само — ноги коснулись пола, позвоночник выпрямился, руки нашли край кровати. Я стоял в темноте и не знал, зачем встал и куда иду. Пол был холодным. Я не надел тапки. Я пошёл по коридору — босиком, в трусах и старой футболке, в

которой спал последние три недели, потому что от неё пахло мной, и это было важно: пахнуть собой, а не ничем.

Коробки стояли у входной двери. Три штуки. «Одежда», «Книги», «Прочее». Я прошёл мимо них.

Шкаф был в конце коридора — встроенный, с раздвижными дверцами, которые всегда заедали на левой направляющей. Моя половина — правая. Её — левая. Соседка собрала не всё: основное лежало в коробках, но в шкафу осталось то, что она, очевидно, не решилась тронуть. Зимнее пальто. Шарф. И оно.

Белое платье в мелкий синий горошек.

Оно висело на деревянных плечиках — тех, что Лисбет привезла из секонд-хенда в Гётеборге и которыми гордилась непропорционально их стоимости. Платье было лёгким, хлопковым, с расклешённой юбкой до колена и тонкими лямками, которые она завязывала бантом на плечах. «Платье счастья» — так она его называла, и я всегда морщился от этого слова, потому что счастье, по-моему, не нуждается в платьях, на что она отвечала, что я бесчувственный инженер и не понимаю ничего выше расчётных таблиц.

Я протянул руку.

Не к ней. К нему. К рукаву — левому, тому, что висел ближе ко мне, чуть развернувшись от сквозняка из щели в дверце. Ткань была прохладной. Тоньше, чем я помнил, — или руки мои стали грубее за эти недели. Хлопок под пальцами чуть зашуршал — сухо, бумажно, как старое письмо. Я сжал рукав.

Ничего не произошло. Ни запаха, ни тепла, ни того электрического укола узнавания, которого я, видимо, ждал. Ткань была тканью. Пустой, холодной, выстиранной. Последний раз Лисбет надевала это платье в июне — в тот самый июньский день, про который я потом напишу, сидя в бергенской квартире с мешочком пепла на столе. Она была в нём на озере. Потом — на веранде. Потом сняла, бросила в корзину для стирки, и я постирал его на следующий день, и оно высохло на верёвке за домом, и ветер трепал его, как маленький флаг, и я подумал тогда — мимоходом, не фиксируя, — что оно похоже на привидение.

Я стоял в коридоре и держал рукав пустого платья, и рука не разжималась. Я пытался. Пальцы не слушались. Не от спазма — от чего-то другого, для чего у меня не было медицинского термина. Ладонь просто отказывалась выполнять команду. Она сжимала ткань — не сильно, без судороги, с той бережной, идиотской хваткой, с какой сжимают ладонь спящего ребёнка, боясь разбудить.

Я стоял так долго. Минуту. Пять. Может, больше. За окном кухни зажёгся и погас свет — в доме напротив кто-то встал и лёг. Трамвай проехал первым утренним рейсом; стук колёс по рельсам добирался до третьего этажа, гас, и квартира снова оказывалась в тишине. Но эта тишина была иной, чем та, от которой я бежал, — она не давила. Она просто стояла рядом и смотрела, как я держу рукав, и не торопила.

Я отпустил.

Пальцы разжались — по одному, неохотно, как отдают долг. Рукав качнулся, замер. Плечики скрипнули на перекладине.

Я закрыл шкаф. Левая дверца, как всегда, заела; я толкнул её коленом и услышал щелчок. Прошёл обратно в спальню. Лёг. На свою сторону. Её сторона была по-прежнему заправлена — безупречно, невыносимо. Я натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза.

Сна не было. Но я лежал тихо, и руки мои лежали поверх одеяла, и левая ладонь, та, что держала рукав, была ещё чуть холоднее правой. Я подумал: завтра я сниму это платье с вешалки, сложу его и положу в коробку «Одежда». Это не трудно. Это простое действие. Согнуть по швам, разгладить, уложить.

Я знал, что не сделаю этого. Знал так же ясно, как знал, что кольцо на моём мизинце я не сниму. Что коробки простоят у двери ещё месяц, и ещё один, и ещё. Что платье будет висеть в шкафу, пока я не уеду из этой квартиры — а я уеду, это я тоже знал, хотя ещё не знал куда.

Лисбет сказала: не делай из меня культ.

Я лежал в темноте и слушал, как в стене рядом с кроватью негромко гудит водопроводная труба — кто-то этажом выше открыл воду. Звук был ровным, монотонным, почти ласковым. Я подумал: это и есть то, что приходит на место горя. Не покой. Не примирение. Водопроводная труба в четыре часа утра и рука, которая не может разжаться.

Рассвет пришёл неохотно, по частям — сначала серая полоска под шторами, потом блик на дверце шкафа, потом свет, добравшийся до потолка и осветивший трещину. Два русла. Река.

Через неделю я нашёл на карте Аскефьорд.

Паром, которому предстояло доставить меня к месту моего добровольного изгнания, был стар — столь стар, что, казалось, помнил времена, когда по этим водам ходили ладьи, а не утлые посудины с коптящими дизелями. Он скрипел и стонал на ударах волн, как живое существо, уставшее от долгой и неинтересной борьбы, и каждый его стон отзывался у меня в груди смутным предчувствием, для которого я ещё не имел имени.

Я стоял на палубе, вцепившись в мокрые поручни, и вглядывался в горизонт, которого не было. Серое небо сливалось с серой водой в единую безрадостную массу, и только чайки — резкими, надрывными криками, похожими на жалобу женщины, которой надоело жаловаться, — нарушали тишину этого края.

Аскефьорд. Само название звучало как заклинание — нордическое, полное шипящих и рычащих звуков, скребущих по небу. Я нашёл это место на карте случайно: ткнул пальцем в самую глухую точку побережья, куда ещё ходил паром — раз в неделю, по средам, если позволяла погода. «Туда никто не ездит, — сказал клерк в туристическом бюро, и в его тоне мелькнуло плохо скрытое недоумение. — Там ничего нет». Вот именно, ответил я.

Мне нужна была тишина. Не та, что бывает в пустой квартире, когда слышно холодильник и капли из крана. Мне нужна была пустая тишина — без подкладки, без эха, без человеческого голоса, способного звучать оттуда, откуда звучать не должно. Тишина, в которой можно перестать слышать её.

Я запретил себе думать о ней. Запретил с той беспощадной точностью, с какой монах-аскет отказывает себе в воде. И всё же думал — каждый день, каждый час, каждую минуту, когда оставался один.

«Ты должен жить, — сказала она мне на пути, когда мы стояли на палубе и её платье в синий горошек билось на ветру, — а не помнить».

Нет. Не тогда. Она умерла за три недели до парома. На той палубе, в синий горошек, не было никакого «должен жить» — был ветер, было обещание про старость, был запах цитрусового шампуня. Я снова путаю.

Я часто это путаю.

Паром качнуло. Я ухватился за поручень крепче. Ветер хлестал в лицо и выбивал слёзы, которые я не хотел признавать своими. Вокруг не было ничего — только бескрайняя, равнодушная стихия. Размытые дождём очертания дальних гор казались декорацией к какой-то забытой пьесе, в которую я по собственной глупости вошёл, не подозревая, что роль моя в ней давно расписана.

Лисбет.

Море пахло ею.

Конечно, оно пахло солью, йодом, сырой рыбой и холодом — всем тем, чем положено пахнуть северному морю в октябре. Но под этим грубым, первобытным запахом таился другой — тонкий, как след духов на старом шарфе. Так пахла она, когда возвращалась с набережной:

ветер запутывался в её волосах, оставляя в них привкус моря, и когда она прижималась ко мне, покрасневшая, я вдыхал этот запах и думал — вот. Вот ради чего стоит.

Я закрыл глаза.

Май. Теплоход до Стокгольма. Наша первая совместная поездка — дурацкая, спонтанная, купленная по акции за две недели до отплытия. Лисбет только защитила диплом, я только уволился с первой работы, и мы чувствовали себя бесконечно свободными и бесконечно молодыми. Мы стояли на палубе — почти как я сейчас, только вместо серого фьорда было синее, искрящееся на солнце море, а вместо ледяного ветра — тёплый бриз.

На ней было то самое белое платье в мелкий синий горошек, которое она называла «платьем счастья». Оно развевалось на ветру, и она то и дело придерживала его рукой, смеясь и делая вид, что сердится.

— Ну посмотри на меня, Джеймс! — крикнула она, перекрывая шум двигателя. — Посмотри, я лечу!

Она раскинула руки, подставив лицо солнцу, и на мгновение действительно стала похожа на птицу. Белую, тонкую, готовую сорваться с поручня. Я смотрел на неё и не думал ничего. В голове было пусто и тепло.

— Ты похожа на сумасшедшую, — сказал я.

— Зато я твоя сумасшедшая. — Она шагнула ко мне и положила голову мне на плечо. От волос пахло морем и цитрусовым шампунем из лавки у нашего дома. — Обещай мне.

— Всё что угодно.

— Обещай, что мы всегда будем так путешествовать. Даже когда состаримся. Даже когда у нас кончатся деньги. Будем стоять на палубе и делать вид, что летим. Договорились?

— Договорились. И обязательно в этом же платье.

— Идиот, — сказала она. Но запомнила. Она вообще была из тех людей, которые живут не списком дел, а моментами — яркими, хрупкими, единственными в своём роде.

Я открыл глаза.

По-прежнему было серое море, серое небо, серые скалы вдалеке. Никакого солнца. Никакого белого платья. Только холод и тишина. И кольцо на моём мизинце — ровно настолько холодное, насколько холодно всё, что носят слишком долго.

Её банк памяти закрылся вместе с ней. А мой — мой был переполнен. Он ломился от воспоминаний, которые я не мог ни выбросить, ни перестать перебирать. Каждое из них было драгоценным. И каждое — отравленным. Каждое «помнишь, как мы...» заканчивалось одним и тем же.

— Эй, писатель!

Я обернулся.

Паромщик — угрюмый старик с лицом, иссечённым ветром сильнее, чем борт его посуды, — стоял у двери рубки и махал мне рукой. В его взгляде, обращённом на меня, я уловил что-то среднее между сожалением и тем суеверным холодком, какой бывает у моряков, видевших слишком многое и научившихся об этом молчать.

Я подошёл ближе, ухватившись за мокрый поручень. Старик не двигался. Только подождал, пока я окажусь в двух шагах от него, и лишь тогда заговорил. Голос его был низким, скрипучим; ветер срывал слова и уносил за корму.

— Через полчаса прибудем. Готовьтесь. Прилив начинается, зальёт пирс — до ночи не выберетесь. А ночью там оставаться — дурное дело.

Он замолчал, и это молчание было тяжелее слов. Я чувствовал: за простым предостережением скрывается нечто, что он носит в себе много лет и не торопится отдавать первому встречному.

— Я думал, там есть дорога, — сказал я, чтобы разбить эту вязкую паузу.

— Дорога? — он усмехнулся беззубым ртом, и в его смехе послышался скрежет гальки под отступающей волной. — Там есть направление. Не перепутайте.

Он сделал шаг ближе. Ближе, чем требовалось для простого разговора. От него пахло табаком, рыбьим жиром, мокрой шерстью — и чем-то ещё, сладковатым, на грани ладана. Глаза, бледно-голубые, почти выцветшие, как старая джинсовая ткань, впились в мои. Зрачки были сужены, несмотря на серый день.

— И запомните, — он понизил голос почти до шёпота, и мне пришлось наклониться, чтобы разобрать слова. — Никого не слушайте. Особенно тех, кого не видно.

— Тех, кого не видно?

Старик не ответил сразу. Бросил быстрый, опасливый взгляд через плечо — туда, где за пеленой дождя угадывались чёрные, нависающие над водой скалы, — и снова повернулся ко мне. Лицо, и без того изрезанное морщинами, постарело ещё на десять лет.

— Тех, кто говорит голосами, которых нет, — прошелестел он. — Тех, кто стоит у окна, когда в доме никого. Тех, кто зовёт по имени, а когда обернёшься — пусто. Вы меня понимаете?

Я молчал. Не потому, что не хотел ответить. Я был писатель: у писателя в голове полки, на которые можно уложить любые слова. Но эти не ложились. Они стояли посреди палубы, и я стоял рядом, и от них исходил тот же сладковатый запах, что от старика.

— Вы говорите так, будто знаете, о чём речь, — выдавил я.

Паромщик отступил. Лицо его снова стало непроницаемым — словно он захлопнул дверь, за которой на секунду приоткрылась тесная комната с другим воздухом. Он сплюнул за борт и, не глядя на меня, произнёс:

— Каждый, кто ходит этим маршрутом больше десяти лет, знает. Одни помнят. Другие забывают. Третьи притворяются, что забыли. Я — из первых. И скажу вам, писатель: не надо было сюда ехать. Но раз уж едете — не верьте своим глазам. И не верьте тишине. Она там обманчивая.

Он развернулся, чтобы уйти в рубку, но задержался у косяка. Пальцы — узловатые, скрюченные артритом, с чёрной каймой под ногтями — лежали на металле и подрагивали. То ли от старости, то ли от чего-то ещё.

— А эти, — окликнул я его, — те, кого не видно. Они опасны?

Старик не обернулся. Только плечи подались вперёд, словно под невидимой тяжестью.

— Опасны? — повторил он. — Вода тоже опасна. Но люди всё равно плавают. Ветер опасен. Но люди всё равно дышат. Они... как стихия, писатель. Не злые. Не добрые. Просто голодные.

Последнее слово он не произнёс — выпустил. Ветер тут же его подобрал.

Дверь рубки закрылась с глухим металлическим стуком. Я остался один на палубе.

Берег приближался. Он был чёрным — не серым, не бурым, а именно чёрным, как свежий разлом в теле земли. Скалы отвесно падали в воду, и только в одном месте, у подножия самой высокой из них, виднелся узкий просвет — бухта, куда, видимо, и шёл паром.

Я думал о словах старика. О «тех, кого не видно». О «голодных». В голове эти слова звучали иррационально — обрывки готического романа, который я сам мог бы написать в плохой день. Но в груди, ниже головы, ниже того места, где обычно живут связанные мысли, они находили себе дом и располагались там надолго.

«Голодные».

Я поправил воротник плаща. Кольцо на мизинце сжалось чуть плотнее — то ли я сжал кулак, то ли пальцы успели окоченеть. Сходить я ещё не торопился. Пусть подойдёт ближе.

Берег подходил.

ГЛАВА 2. Таксист

Машина вышла из тумана без звука. Старый «Вольво» — чёрный, с помятым крылом и треснувшей фарой, чей рисунок трещин повторял разводы на стекле паромной кассы, — встал у причала так, будто стоял здесь всё это время и только теперь согласился стать видимым. Шофёр не вышел. Опустил стекло, и я увидел мальчишку лет двадцати — узкое лицо, прозрачная бледность людей, что годами живут на северной стороне, и над воротником грубого свитера — татуировка. Руна Турисаз, чёрная, чуть кривовато наколотая, видимо, своими же руками. Я узнал её сразу. В студенческие годы у меня была глупая мода на скандинавскую литературу, и я помнил: великаны, хаос, разрушение. Колочий камень, в который ударяется кровь, прежде чем разлиться.

— Мистер Нэш?

— Да.

— Садитесь. Прилив скоро.

Голос был ниже, чем должен быть у человека такого сложения, и сипловат — голос, которым в этих местах, видимо, не разговаривают подолгу. Я закинул чемодан в багажник. Дверца захлопнулась с тем глухим, ватным звуком, какой бывает у машин, простоявших долго на влажной земле, — и в ту же секунду меня обнял запах.

Сначала табак. Тот, что въедается в обивку и держится в ней десятилетиями, переживая владельцев. Потом рыба — северная, сушёная на ветру, пахнущая уже не едой, а самим морем. И поверх всего этого, тоненькой нитью, отдельно, будто его специально провели по моим ноздрям, — травянистый, чуть смолистый, едва уловимый запах. Не сразу разобрать. Возможно, чьи-то старые духи. Возможно, пучок чего-то под сиденьем.

Пальцы, тянувшиеся к ремню, застыли в воздухе.

Розмарин.

Нет. Я запретил себе. Запретил ещё на пароме, когда ветер с моря вытащил из меня то майское утро. Запретил с той беспощадностью, с какой запирают комнаты, в которых произошло что-то непоправимое.

Но запах не подчиняется запретам. Он пробрался по горлу, осел на языке — и память, которую я уже неделю учил молчать, открыла дверь сама. Не на теплоход. В другое место. В маленькую стеклянную пристройку на заднем дворе нашей съёмной квартиры в пригороде.

Лисбет называла её своим «зелёным королевством». Это был старый парник, найденный по объявлению, с разбитыми стёклами и алюминиевыми рамами, выгоревшими до белизны. Она восстанавливала его полгода — упрямо, как умела всё, что любила: меняла стёкла, тянула провод, пристраивала к двери крючок. К весне там стояла такая зелень, что воздух можно было резать ножом. Розмарин, тимьян, базилик, мята, шалфей, лаванда — она держала их в страшной тесноте, и от этой тесноты они становились только злее, плотнее, ароматнее.

Я вошёл туда в самый жаркий полдень в июле. Лисбет стояла ко мне спиной, склонившись над лотком с розмарином. Волосы выбились из узла и прилипли к мокрой шее. Она была босиком, в выцветшем сарафане, который я знал наизусть. Не услышала, как я вошёл. Я просто стоял в дверях и смотрел на её спину, на острые лопатки под тонкой тканью, на пальцы, что перебирали стебли с той сосредоточенной мягкостью, какой женщины касаются чужих детей.

— Ты опять перелила мяту, — сказал я.

Она не вздрогнула. Только повернула голову, не выпрямляясь, и взглянула на меня снизу — янтарь, по которому скользнул свет.

— Мята простит, — сказала она. — Она благодарная. Не то что лаванда. Лаванда — стерва.

И засмеялась. И — тут я её помню очень точно, потому что в этом и был весь её смех, — резко, не доводя смех до конца, оборвала его и прибавила уже без улыбки:

— Ты бы лучше дверь закрывал. Сквозит.

Сказала коротко, ровно, как замечание о сделанной ошибке. Я тогда не услышал в этом ничего, кроме её обычной точности. Не услышал и сейчас. Лисбет не умела быть резкой. Она просто всегда говорила прямо.

Она шагнула ко мне, и на её раскрытой ладони лежала тонкая, с серебристо-зелёными иголочками веточка.

— Возьми, — сказала она. — Розмарин — он для памяти. Будешь нюхать — не забудешь меня.

— Я и без розмарина не забуду.

— Обещаешь?

— Обещаю.

Я поцеловал её в висок. Влажная прядь скользнула по губам. От её кожи пахло землёй, листом и тем цитрусовым, с горчинкой, шампунем, который она привозила из одной маленькой лавки. В тот момент — я это помню физически, как помнят боль или ожог, — я подумал: вот это и есть. Просто стоять. Просто быть рядом. Просто знать, что она.

— Я тебе говорила. Розмарин.

Спокойно. Совсем рядом. Тоном лёгкого упрёка, каким напоминают о потерянной вещи.

Я повернул голову. На пассажирском сиденье никого не было. Только серое сукно, серая трещина обивки, влажное пятно у подлокотника.

Радио в «Вольво» молчало. Шофёр смотрел вперёд. Двигатель, заведённый, ровно тянул свою низкую ноту.

Я повторил себе несколько слов очень медленно и очень разборчиво, как повторяет человек, проверяющий собственный пульс. Это эхо памяти. Это давление в висках. Я три дня не спал толком, я ехал на пароме шесть часов, и теперь я еду в чужой машине с чужим мальчиком в незнакомую страну. Любой бы устал. Усталость — это всё, что со мной происходило последние девять месяцев. Просто очень глубокая усталость.

— Вы в порядке?

Шофёр повернулся ко мне наконец. Глаза у него были тёмные — слишком тёмные при таком лбе, — и зрачки расширены неприятно широко, словно я смотрел в собственное отражение в комнате с задёрнутыми шторами.

— Я в порядке.

Я застегнул ремень. Пальцы дрожали ровно настолько, чтобы это было неловко. Я сжал кулак и отметил, как кольцо — её кольцо, тонкий золотой ободок, который я с похорон носил на безымянном пальце правой руки, — прижалось к коже. Привычка, не более.

— Дорога так себе. Держитесь.

Машина тронулась.

Дорога — если каменистый рубец, петляющий между скал, можно так назвать, — пошла вверх, в туман. Фары вытаскивали из серой мглы то мокрый валун с пятном лишайника, то одинокую сосну, согнутую ветром в одну и ту же сторону, словно ей навсегда показали, куда смотреть, то остов строения, от которого осталась одна труба и кусок печной кладки. Никаких людей. Никаких огней. Только дворники — вжих, пауза, вжих, пауза — и низкое урчание двигателя.

Я смотрел в окно и думал об оранжерее. Она умерла вместе с Лисбет. В первые недели я ещё ходил туда — поливал мяту, обрезал лаванду, подвязывал розмарин, делал всё то, что делала она, и делал, кажется, правильно. Растения отказались жить. Чахли по одному. К концу второго месяца зелёное королевство стало кладбищем сухих стеблей; я закрыл его на крюк,

потом на навесной замок, потом перестал смотреть в его сторону из окна. Я думал тогда: они скучают. Теперь, в чужой машине, я думал иначе. Они просто знали раньше меня.

— Вы здешний? — спросил я.

Шофёр не сразу ответил. Я уж решил — не услышал.

— Родился здесь. В шестнадцать уехал в Осло. Думал — навсегда.

— Но вернулись.

— Вернулся.

Снова пауза. Дворники скребли стекло. Я не торопил его — было ясно, что слова даются ему с тем особенным трудом, с каким даются они человеку, давно ничего не говорившему в голос.

— Из-за дома, — сказал он наконец, и в его голосе сквозь сипоту вдруг прорезалась тревога — не страх, а именно тревога, от которой у людей белеют костяшки на руле. — Из-за Вдовьего Плёса. Он зовёт. Всех зовёт. Кого раньше, кого позже. Я думал — оторвался. Вытащил. А потом стали сны.

— Сны?

— Сначала я думал — нервы. Переутомление. В Осло я работал на две ставки: разносчик днём, охранник ночью. Спал по четыре часа. С такого графика и не такое приснится.

Он усмехнулся — коротко, без веселья.

— Снилась женщина. Стояла на скале над фьордом. Спинай ко мне. В тёмном платье. Не оборачивалась — никогда не оборачивалась. Я просто знал, что она там, и знал, что она ждёт. Каждую ночь то же место, то же платье, тот же ветер. Я просыпался уставшим, как после смены.

— А потом?

— Потом она заговорила.

Он быстро взглянул на меня и снова отвернулся к дороге.

— Не во сне. То есть — и во сне тоже. Но однажды я проснулся, потому что кто-то назвал меня по имени. Не в комнате. И не за стеной. Здесь.

Он на секунду снял руку с руля и приложил ладонь к груди. К тому месту, где сердце. Кадык на длинной, по-мальчишески незащищённой шее дёрнулся.

— Внутри. Голос тихий, ласковый. Будто кто-то старший утешает. Но что-то в нём было... не моё. Старше меня. Старше всех, кого я знал.

— И что она сказала?

— Возвращайся. Ты нужен. Он ждёт.

— «Он»?

— Не знаю.

Он чуть качнул подбородком — одним движением, без участия плеч.

— Может, дом. Может, кто-то в доме. Может, что-то, на что у меня нет слова.

Он замолчал. В тусклом свете приборной панели его лицо казалось не бледным даже, а серым, как мел. Зрачки — те самые, расширенные, — двигались по дороге, но смотрел он внутрь.

— Я попробовал заглушить. Алкоголем, бессонницей, чужими женщинами. Бесполезно. Каждую ночь — она на скале. Каждую ночь — голос в груди. Я уволился с обеих работ. Продал всё, что было. Купил билет.

— И сны прошли?

— Прошли.

В его голосе не было облегчения.

— Теперь я не сплю. Потому что теперь я её вижу не во сне. Я её вижу из окна. Стоит на том же месте. На скале. Лицом к фьорду. Спинай к дому. Я знаю, что однажды она позовёт ещё

раз. И я пойду. — Он коротко взглянул на меня. — Дом не пускает случайных. Он выбирает. А если выбрал — не отпустит.

Я не ответил. Слова, которые он сказал, не требовали возражения и не оставляли места для разумного ответа. Я смотрел на его худые пальцы на руле, на синеватую жилу, поднимающуюся от запястья к локтю, на руну над воротником — Турисаз, шип, через который проходит кровь, — и думал о том, что я приехал сюда писать роман.

— Вы тоже почувствуете, — сказал он, не глядя на меня. — Если задержитесь. Дом не пускает случайных. Зачем-то и вы ему понадобились.

Я открыл рот, чтобы спросить — зачем, — но машина ухнула в низину, и я увидел его. Дом.

Он не стоял на берегу, как стоят дома, построенные руками. Он рос из скалы. Тёмный, тяжёлый, приземистый, с провалившейся посередине крыши, поросшей мхом до самого конька, он сидел на чёрном камне так плотно, словно врос в него корнями. С нашей стороны он смотрел на фьорд двумя прямоугольными окнами, и в этих окнах, к моему ровно отмеренному удивлению, горел тусклый, желтоватый свет — керосиновая лампа, не электричество. Кто-то стоял у одного из окон. Или мне это показалось. Я отвёл глаза.

— Вот он, — сказал шофёр и заглушил мотор. — Вдовый Плёс.

Двигатель умолк. Тишина встала сразу — такая, в которой слышно, как ветер дышит через щели в скалах. И в этой тишине, сквозь шипение неисправного динамика, из магнитолы раздалась мелодия. Не радиостанция — едва ли в этом фьорде что-то ловит, — а кассета, видимо, играла, пока мы говорили, и я её не слышал. Тонкая, насвистанная женским голосом, без слов. Старая колыбельная, которую Лисбет напевала в оранжевое, когда думала, что её никто не слышит.

Я не двинулся. Шофёр заметил, проследил мой взгляд до магнитолы, поморщился и щёлкнул выключателем. Музыка оборвалась.

— Старые ленты, — сказал он почти виновато. — Не моё. Тут до меня машина была отцовская.

Я кивнул.

Я кивал секунды на три дольше, чем нужно. И за эти три секунды успел повторить себе: совпадение. У северной мелодии, услышанной случайно, конечное число интервалов. Любая колыбельная похожа на любую другую. Это совпадение.

Я полез во внутренний карман за бумажником. Его пальцы перехватили моё запястье. Ладонь была сухая, очень холодная, как у человека, давно не евшего тёплого, — даже сквозь рукав плаща я почувствовал, как от неё стынет кожа.

— Послушайте, — сказал он. — Я не пугать.

— Понимаю.

— Услышите ночью шаги на втором этаже — не поднимайтесь.

Он говорил тихо, отчётливо, не глядя на меня, словно произносил заученное.

— Закройте дверь спальни на засов. Засов там есть, я проверял мальчиком. Смотрите в стену. И не отвечайте, когда вас позовут по имени. Особенно — если по имени, которым вас называла она.

Он отпустил мою руку.

— Кто — она? — спросил я.

Он не ответил. Завёл мотор.

— Утром парома не будет. Прилив до полудня. Тропа через перевал есть, за старой кирхой. Идти часа три. Это так. На всякий.

Я вышел. Достал чемодан. Закрыв багажник. «Вольво», взвизгнув шинами по мокрому гравию, ушёл с места быстрее, чем требовалось, и за поворотом погасли его задние огни — сразу обе.

Я остался один. Ветер выл во впадинах скал — глухо, с подвыванием, как умеют выть только местные ветры, не разгоняющиеся ниоткуда, а живущие на одном месте веками. Где-то внизу, не видный сейчас, разбивался о камни прилив — мерное, тяжёлое дыхание, которое я слышал спиной.

Я смотрел на дом. И — это нужно записать честно, потому что я обещал себе писать честно, иначе всё это не имеет смысла, — я смотрел на него не с тем страхом, какого ждал. Я смотрел на него так, как смотрят на дальнего родственника, которого никогда не видели, но о котором всё детство слышали. С каким-то узнающим, неуместным узнаванием.

Я сделал первый шаг к двери.

Она отворилась сама.

Не рывком, не сквозняком — медленно. Долго. С тем низким, протяжным звуком, какой издаёт старое дерево, у которого нет причин торопиться. Из прямоугольника тёплого, дрожащего керосинового света на гравий легла длинная, узкая тень — чужая, женская, опирающаяся на что-то справа от косяка.

Я переступил порог.

ГЛАВА 3. Дом на краю ветра

На пороге стояла старуха.

Я употребляю слово «старуха» за неимением лучшего, ибо та, что предстала передо мной, казалась не просто старой — она казалась древней, как сами скалы, окружавшие усадьбу.

Время, которое для живых течёт рекой, для неё обернулось ледником — медленным, неумолимым, оставляющим после себя глубокие борозды и острые, как бритва, грани. Её лицо, изрезанное морщинами глубже, чем фьорд изрезал побережье, было похоже на карту прожитых лет — и лет этих было столько, что моему рациональному уму отказывалось верить.

Свет керосиновой лампы, которую она держала в левой руке, падал на её лицо снизу вверх — тот самый, театральный, безжалостный свет, что выхватывает каждую впадину и каждую складку, превращая человеческие черты в гротескную маску.

Глазницы казались провалами, полными тёмной, колышущейся пустоты. Скулы — острыми, как нос корабля викингов, что покоится где-то на дне здешнего фьорда. А губы — тонкой, почти невидимой линией, навсегда сжатой в выражении суровой, всезнающей печали.

Её облачение довершало это сходство с фигурой из иного мира.

Платье — глухое, до самого подбородка, без единого украшения, цвета вороньего крыла, — падало до самого пола тяжёлыми, неподвижными складками. Ткань поглощала свет, не отбрасывая ни единого блика, — старый, добротный, вытертый до блеска на локтях креп, помнивший, вероятно, ещё первую хозяйку этого дома. Воротник-стойка подпирал подбородок, придавая её осанке ту особенную, ритуальную прямоthu, какая бывает у женщин, привыкших служить — и привыкших видеть то, о чём не принято говорить.

Но больше всего моего внимания приковала к себе связка ключей, висевшая у неё на поясе.

Это была не просто хозяйственная деталь, не просто утилитарный предмет, какие носила экономка. Нет. Ключей было слишком много — не менее дюжины, — и каждый из них был иного размера и формы. Тяжёлые, кованые, с замысловатыми, почти геральдическими головками, они свисали с массивного железного кольца, позвякивая при каждом её движении с тем тихим, печальным звоном, который напоминал не то погребальный колокольчик, не то отголосок цепей. Некоторые были покрыты ржавчиной, другие отполированы до блеска частыми прикосновениями, третьи — так велики и тяжелы, словно открывали не двери, а врата склепов. И в этом позвякивании, в этом металлическом шёпоте, мне почудилось нечто большее, чем просто звук. Словно каждый ключ на этом кольце отпирал не столько дверь, сколько некую тайну. Некую боль. Некую главу из истории этого дома, которую лучше не читать на ночь.

Седые волосы её, стянутые в тугую, безжалостно аккуратный пучок на затылке, блестели в неверном свете лампы, как паутина, подёрнутая инеем. Ни одна прядь не выбивалась, ни один волосок не нарушал этого сурового, почти монашеского порядка. Её причёска сама по себе была дисциплиной. Сама по себе — молчаливым утверждением: «Я здесь слуга, но я здесь и хозяйка. Я знаю то, чего не знаешь ты. И я не расскажу тебе этого просто так».

Но более всего поразили меня её глаза.

Бледно-голубые, почти бесцветные, как вода во фьорде на мелководье, когда солнце стоит в зените и выбеливает все тени, — они смотрели на меня с выражением мрачного, какого-то потустороннего удовлетворения. Так смотрит человек, который долго ждал гостя — и наконец дождался. Так смотрит страж у врат, который знает: вошедший уже не выйдет. Так смотрит сама смерть — терпеливая, бесстрастная, лишённая и злобы, и сострадания.

В этих глазах не было любопытства — любопытство свойственно тем, кто ещё не знает. Они знали. Знали всё — кто я, откуда держу путь, почему выбрал самую глухую точку на карте, что пытаюсь забыть и что никогда не смогу. В них мерцал тот особенный, холодный огонёк,

какой бывает только у очень старых людей, переживших столько смертей, что собственная уже не кажется им чем-то страшным. И глядя в эти глаза, я вдруг почувствовал себя не гостем, не постояльцем, не писателем, заключившим контракт с издательством. Я почувствовал себя очередной главой в книге, которую эта старуха читает уже много десятилетий.

— Мистер Нэш? — голос её, скрипучий и сухой, напоминал звук, с каким старое дерево трётся о камень во время бури. — Вы опоздали. Прилив уже начался. Но вас ждали. Прощу.

Я переступил порог — и едва моя нога коснулась стёртых каменных плит прихожей, как дверь за моей спиной затворилась сама собой. Тяжело, глухо, словно кто-то невидимый придержал её изнутри, отрезая мне путь к отступлению.

Ключи на поясе фру Кари звякнули в последний раз и стихли.

Тишина, навалившаяся на меня, была такой плотной, такой осязаемой, что в ней, казалось, можно было утонуть. И в этой тишине я услышал — или мне почудилось? — тихий, едва различимый вздох. Вздох самого дома.

Он тоже меня ждал. И наконец дождался.

Внутри пахло сложно.

Я разбирал этот запах по слоям, как археолог разбирает культурный слой древнего кургана, — и каждый слой рассказывал свою историю, тёмную и безрадостную. Верхний слой — сухой вереск, горько-ватый и терпкий, напоминающий о шкафах, где годами лежат старые платья, о букетах, засушенных между страниц забытых книг, о поцелуях, от которых остался лишь привкус пепла. Вереск здесь был повсюду — не просто запахом, но самим духом дома, его лейтмотивом, его тихим, навязчивым рефреном.

Под ним — пыль. Тонкая и вездесущая, как прах времени, она забивалась в ноздри, скрипела на зубах, оседала на языке сухим, безвкусным налётом. Это была не та пыль, что скапливается за неделю-две хозяйского недосмотра, — то была пыль десятилетий, пыль поколений, пыль, впитавшая в себя и высохшие слёзы, и истлевшие надежды, и последние вздохи тех, кто имел несчастье называть этот дом своим.

Ещё глубже — что-то кислое, звериное. Запах старой кожи, из которой сшиты переплёты книг и спинки кресел; запах застарелого пота — немного свидетеля ночных бдений и дневных тревог; запах псины, мокрой шерсти, дикого зверя, который когда-то, много лет назад, переступил этот порог, но так и не стал ручным.

А в самой сердцевине, едва уловимый, но неистребимый, как память о смертельной ране, — запах дыма. Не свежего, кострового, что пахнет уютом и походной романтикой, а того, что въелся в дерево и камень много лет назад. Запах пожара, который никогда не умирает. Запах беды, которая уже случилась — или ещё только ждёт своего часа.

Я сделал несколько шагов вперёд, и половицы отозвались под моими ногами — каждая на свой лад. Одна скрипнула коротко и резко, как вскрик. Другая застонала протяжно, словно жалуясь на тяжесть, которую ей приходится нести уже второе столетие.

Третья — та, что у самого порога гостиной, — издала звук, похожий на сдавленный смех. Я остановился, но фру Кари, не оборачиваясь, всё так же безмолвно скользила вперёд, и её ключи позвякивали в такт шагам — тихий, похоронный перезвон.

Гостиная, куда она меня привела, была огромной — но из-за низкого, давящего потолка с тяжёлыми балками тёмного, почти чёрного от времени дерева казалась тесной, как склеп. Потолок нависал над головой, словно крышка гигантского сундука, готовая вот-вот хлопнуться. Балки, грубо отёсанные, хранили на себе следы топора — зарубки, похожие на шрамы. И в их перекрестьях, в густой паутине, подрагивающей от малейшего сквозняка, застыли бледные, полупрозрачные коконы — свидетельства того, что у времени здесь есть свои, крылатые летописцы.

В огромном камине, сложенном из почерневшего от копоти камня — таких же точно камней, что устилали берег фьорда, — пылал огонь. Но его тепла не хватало на то, чтобы разогнать промозглый, застарелый холод, затаившийся по углам, словно хищник в засаде. Пламя металось, гудело, вылизывало закопчённое нутро дымохода оранжевыми языками, но жар его был каким-то призрачным, поверхностным — он не проникал под кожу, не согревал изнутри. Казалось, сам холод этого дома обладал волей и упрямством; казалось, он был не отсутствием тепла, а самостоятельной, старой стихией, которая лишь терпит присутствие огня, но не уступает ему ни пяди.

По углам гостиной сгустились тени — плотные, маслянистые, почти осязаемые. Они не убегали от света, как им положено, а стояли на месте, словно часовые, и колыхались, когда пламя в камине вздрагивало от порыва ветра. В этих тенях мне чудилось что-то живое — может быть, просто оптический обман, порождённый усталостью и расшатанными нервами, а может быть, нечто большее. Словно те, кто когда-то жил в этой комнате — сидел у этого камина, читал книги, смотрел на портрет над полкой, — никуда не ушли. Они просто отступили в тень. И теперь наблюдают.

На стенах, оклеенных старыми, потемневшими обоями в блёклый, едва различимый цветочный узор, висели картины в тяжёлых рамах — мрачные северные пейзажи, на которых не было ни одного живого существа. Только скалы. Только море. Только небо — серое, низкое, бесконечно равнодушное. Ни одной человеческой фигуры. Ни одного зверя. Ни одной птицы. Словно художник намеренно вымарал всё живое из своего мира — или словно сама эта земля была не предназначена для того, чтобы по ней ходили смертные.

Мебель — массивная, тёмная, покрытая патиной времени — стояла вдоль стен, как немые свидетели. Кресла с высокими спинками, обитые вытертым, когда-то алым бархатом, теперь казавшимся бурым, запёкшимся, как старая рана. Диван с просевшими пружинами, готовыми застонать от малейшего прикосновения. Круглый дубовый стол у окна, на котором лежала раскрытая книга — кто-то читал её и не дочитал, оставив пожелтевшие страницы догнивать в одиночестве. И над всем этим — тонкий слой пыли, которая, казалось, только и ждала моего прихода, чтобы проснуться и запорошить мне лёгкие.

Я сделал ещё шаг — и половица подо мной скрипнула особенно громко. Звук разнёсся по комнате, отразился от тёмных балок, метнулся в углы и замер, словно проглоченный тенями. И в наступившей на мгновение тишине я услышал — или мне почудилось? — тихий, ответный скрип где-то наверху. Словно кто-то, разбуженный моим шагом, тоже сделал шаг. Три шага к окну. Пауза. Три шага обратно.

Фру Кари остановилась у камина и обернулась ко мне. Свет пламени лёг на её лицо, выхватив из темноты глубокие, как трещины в земле, морщины на лбу и у губ. Она ничего не сказала.

Только посмотрела — долгим, изучающим, каким-то хозяйским взглядом, от которого мне стало не по себе. Словно она оценивала: достоин ли я этого дома. Или, может быть, достоин ли он меня.

Но мой взгляд, едва скользнув по обстановке, тотчас приковал к себе портрет над каминной полкой.

Это была молодая женщина. Не красивая в том общепринятом, глянцево-мимическом смысле, который не оставляет места для индивидуальности, — но вы бы не смогли оторвать от неё взгляда, окажись с ней в одной комнате. У неё были очень тёмные, почти чёрные глаза, которые, казалось, следили за каждым движением, проникая в самую душу. Глаза, которые не спрашивали — они знали. Знали всё — и прошлое, и будущее, и ту страшную цену, которую рано или поздно платит каждый, кто осмелился любить слишком сильно. Жёсткий, почти мужской излом бровей человека, который много страдал — или много ненавидел, или то и другое в столь тесном переплетении, что уже не различить. Рот сжат в тонкую, упрямую линию, но в уголках губ

затаилась тень давней, горькой улыбки — так улыбается человек, который знает тщету всех вещей, но не перестал их любить.

На ней было старомодное платье с глухим воротом, а шею, длинную и изящную, украшала лишь одна нитка речного жемчуга — молочно-белая на смуглой, почти оливковой коже. Жемчуг матово мерцал в свете камина, и в этом мерцании было что-то от лунного света, что-то от тумана над фьордом, что-то от слёз, которые уже пролиты и которые ещё предстоит пролить.

Я стоял и смотрел как замороженный. И чем дольше я смотрел, тем сильнее меня охватывало чувство, что она — живая. Что грудь её едва заметно вздымается под тканью платья. Что губы сейчас дрогнут и произнесут моё имя.

И чем дольше я смотрел, тем сильнее меня охватывало другое чувство — узнавания. Не её. Не этой женщины, которую я никогда не встречал, — но того, что стояло за ней. Того, что таилось в этих тёмных, бездонных, всё понимающих глазах.

Я уже видел этот взгляд. Совсем недавно.

Это случилось в один из последних дней Лисбет. Был конец ноября — того самого ноября, который я теперь ненавидел всеми фибрами души, того месяца, когда мир, казалось, решил окончательно раздавить меня своей серой, бесконечной тоской.

Моросил дождь, мелкий и настойчивый, — не тот дождь, что очищает и смывает, а тот, что просачивается под кожу, забирается в кости, превращает душу в мокрую, чавкающую под ногами землю.

Лисбет тогда уже почти не вставала. Морфий притуплял боль, но вместе с болью он притуплял и всё остальное — её смех, её живость, её удивительную способность находить радость в мелочах. От прежней Лисбет осталась лишь бледная, почти прозрачная тень — но именно в эти последние дни в ней проступило что-то новое. Что-то, чего я не видел раньше. Или, может быть, просто не хотел замечать.

Я вошёл в палату после очередного разговора с врачом — одного из тех разговоров, которые не оставляют надежды. Вошёл, стараясь, чтобы лицо моё не выдало того, что я только что услышал. Лисбет лежала, отвернувшись к окну, и я думал, что она спит. Но когда я приблизился, она повернула голову и посмотрела на меня. И я замер.

Это был тот самый взгляд. Взгляд, который я видел сейчас на портрете. Тёмный, глубокий, лишённый всякой суеты. Взгляд человека, который уже переступил некую черту. Который уже знает всё — и приговор, и дату, и то, что ждёт по ту сторону.

Взгляд, в котором не было ни страха, ни отчаяния, ни мольбы.

Только бесконечная, вселенская печаль — и тихое, почти торжественное спокойствие.

— Не надо так смотреть, — сказала она тогда, и её губы тронула та самая тень улыбки, которую я видел сейчас на портрете. — У тебя такое лицо, будто ты уже меня похоронил.

— Лис...

— Нет, послушай, — она говорила тихо, но твёрдо, и каждое слово давалось ей с усилием. — Я знаю, что ты думаешь. Ты думаешь, что это конец. Что без меня всё остановится. Что ты больше никогда не сможешь быть счастливым.

Я молчал. Отрицать было бессмысленно — она всегда читала меня, как раскрытую книгу.

— Но это неправда, Джеймс. Я умру — да. Но это не конец.

Потому что то, что было между нами, — оно никуда не денется.

Оно останется. Как свет от погасшей звезды. Понимаешь?

Я не понимал. Я не мог понять. Вся моя душа сжалась в один сплошной, белый, слепящий крик: «Не уходи. Не оставляй меня.

Я без тебя не смогу». И в этом крике не было ни грана просветлённости — только эгоизм, только страх, только животное цепляние за то единственное, что придавало моей жизни смысл.

Она смотрела на меня — и она это знала. Видела мой страх, мой эгоизм, мою слепоту. И в её взгляде не было ни осуждения, ни разочарования. Только тихая, горькая, всепрощающая любовь.

— Ты справишься, — прошептала она. — Ты справишься, Джеймс.

Просто пообещай мне, что отпустишь. Что не запрёшься в четырёх стенах. Что будешь жить.

И я пообещал. А сам уже тогда знал — знал так же точно, как знал своё имя, — что не сдержу этого обещания.

Теперь, стоя перед портретом незнакомой женщины в незнакомом доме на самом краю света, я чувствовал, как те же самые глаза — тёмные, бездонные, всё понимающие — смотрят прямо в меня.

И в них я читал всё тот же вопрос, всё тот же упрёк, всё то же тихое, горькое знание.

«Ты справился?»

«Нет», — ответил я про себя. Не ей. Той, другой, которая осталась в ноябре и которая никогда не узнает, насколько она была права. И насколько я был слаб.

— Кто это? — спросил я, не в силах отвести взгляд от этих пронзительных глаз.

Старуха, стоявшая у меня за спиной, замерла. Только дрова потрескивали в камине.

— Это Айна, — сказала она наконец так тихо, с такой интонацией, с какой говорят о покойниках, чья смерть ещё не осознана до конца. — Моя бывшая хозяйка.

В слове «бывшая» прозвучала такая пропасть лет и боли, такое бездонное горе, что я поёжился. Я хотел спросить ещё что-то — о её судьбе, о том, почему портрет висит здесь, в этом мрачном доме на краю света, о том, почему её глаза смотрели на меня так, словно она знала меня всю мою жизнь, — но старуха, словно прочитав мои мысли, вдруг сказала:

— Вы устали с дороги, сэр. Я провожу вас в вашу комнату.

— Ужин через час, — добавила она уже у двери и, не проронив больше ни слова, вышла, плотно притворив её за собой.

Её ключи звякнули последний раз уже где-то в коридоре, и этот звук — тихий, печальный, словно звон колокола над пустым кладбищем — ещё долго стоял у меня в ушах, растворяясь в тишине.

Оставшись один, я принялся осматривать своё новое жилище более внимательно. Комната, которую мне отвели, находилась на втором этаже, в конце длинного, тёмного коридора, устланного вытертым ковром, скрадывавшим звук шагов. Пока мы поднимались по скрипучей лестнице, я пытался считать двери — кажется, их было четыре или пять, но в этом колеблющемся сумраке, где единственным источником света была свеча в руке старухи, я не был уверен ни в чём. Тени на стенах дышали, двигались, набегали друг на друга, словно волны прилива, и в их колыпании мне чудились смутные, ускользающие очертания — женский профиль, детская рука, сгорбленная фигура у окна.

Сама комната оказалась неожиданно уютной — что странным образом контрастировало с мрачностью остального дома, как если бы во чреве чудовища обнаружилась вдруг потайная, обитая бархатом шкатулка. У стены стояла узкая кровать под лоскутным одеялом, сшитым, казалось, ещё в позапрошлом веке, — квадраты тёмно-синего, выцветшего алого и бледно-жёлтого, каждый со своим узором, каждый вырезанный из какого-то другого платья, чьей-то другой жизни, теперь навсегда соединённых в этом безмолвном, вдовьем орнаменте. У окна — массивный письменный стол с видом на фьорд; его столешница, покрытая потёртым зелёным сукном, была исцарапана и залита чернилами — следами чьей-то давней, исступлённой, бессонной работы. Стул с прямой, неудобной спинкой стоял так, словно тот, кто сидел на нём последним, только что встал и вышел на минуту — и не вернулся.

На полу — вытертый, но явно дорогой когда-то ковёр с восточным орнаментом, в котором преобладали глубокие, густые оттенки: гранатовый, сапфировый, золотой. Краски

поблѣкли от времени и пыли, но всё ещё хранили память о своём былом великолепии — как старая актриса, доживающая век в бедности, но не снявшая со стены афишу своего триумфа.

В камине уже лежали дрова, и старуха, чиркнув спичкой, разожгла огонь перед тем, как уйти. Пламя только начинало разгораться — робкое, дрожащее, оно лизало сухие поленья оранжевыми язычками, и по комнате разливался слабый, мерцающий, живой свет. Но его тепла — как и в гостиной — едва хватало на то, чтобы согреть воздух. Казалось, стены выпивали тепло, поглощали его с той же жадностью, с какой сухая земля поглощает воду.

Я поставил чемодан у кровати и присел на край. Пружины жалобно, почти по-человечески всхлипнули подо мной. Я огляделся. И почти сразу же мой взгляд наткнулся на предметы, которые заставили моё сердце биться быстрее.

На подоконнике, аккуратно разложенные, лежали три веточки сухого вереска.

Я протянул руку — и замер, не донеся пальцев до этой хрупкой, безмолвной композиции. Веточки были совершенно свежими — не запylѣнными, не сломанными, не тронутыми временем. Их стебельки, тонкие, как проволока, всё ещё хранили упругость, а крошечные, похожие на бусины цветки — глубокого, лилового, почти чёрного оттенка — источали тот самый горьковато-медовый аромат, который я уловил в гостиной. Но здесь, в замкнутом пространстве комнаты, он звучал громче, настойчивее — словно вереск не просто пах, а говорил. Предупреждал. Или приглашал.

Кто-то заботливо положил их сюда совсем недавно — возможно, за час до моего приезда. Кто-то, кто знал, в какую именно комнату меня поселят. Кто-то, кто хотел, чтобы я их увидел.

Я отдёрнул руку. Встал. Подошёл к столу, стараясь не смотреть на подоконник, — и тут же наткнулся на вторую находку.

В ящике письменного стола — левом, том, что был ближе к окну, — лежала старая тетрадь в потёртом кожаном переплѣте. Кожа, некогда коричневая, теперь была почти чёрной от времени и прикосновений; углы истѣрты до замши, корешок растрескался, как русло пересохшей реки. Я взял её в руки и почувствовал исходящий от неё холод — не физический, нет; скорее, эманацию, тонкую, бесплотную струйку, словно сама вещь помнила руки своего хозяина и не могла согреться.

Я открыл. Страницы были девственно чисты. Почти. На первой, титульной, где обычно пишут имя и название, кто-то вывел карандашом — твёрдым, наклонным, уверенным почерком — одно короткое послание:

«Если ты это читаешь, значит, ты уже внутри. Не ищи выход. Его нет».

Я захлопнул тетрадь и отбросил её на стол, словно она жгла мне руки. Сердце колотилось где-то в горле — глупое, перепуганное, готовое сорваться в панику. Я постоял так несколько секунд, восстанавливая дыхание, а затем, движимый тем же необъяснимым, болезненным любопытством, которое заставляет нас ощупывать языком больной зуб, снова потянулся к ящику.

Там, в самом дальнем углу, за тетрадью, я нашѣл ещё кое-что.

Заколка для волос. Старая, погнутая, из тѣмного, почти чёрного металла — может быть, серебра, может быть, олова, — с остатками эмали, когда-то, вероятно, синей или зелёной, а теперь выцветшей до неопределѣнного, блѣклого, пепельного оттенка. Эмаль пошла трещинами, словно миниатюрная карта высохшей земли. На одном конце заколки сохранился крошечный цветок — не то роза, не то лилия, не то какой-то другой, стилизованный под стилину бутон, — но стѣртый настолько, что лепестки угадывались лишь при самом пристальном, искоса брошенном свете.

Я поднёс её ближе к огню. Заколка была женской. Несомненно. И, судя по весу и выделке, принадлежала женщине небедной. Но что-то в её хрупкости, в этом погнутом стержне, в этих

трещинах на эмали кричало о боли. О насилии. О том, что эту вещь не потеряли. Её сорвали. Или сломали. Или в отчаянии отбросили прочь.

Я положил закладку рядом с тетрадью. Теперь на зелёном сукне стола лежали три предмета: веточки вереска, тетрадь с предупреждением, сломанная закладка. Словно чья-то заботливая рука собрала для меня маленький натюрморт. Словно комната говорила: «Ты хотел узнать историю? Она уже здесь. Она уже началась. Смотри».

А потом я увидел царапины на стене у изголовья кровати.

Сначала я принял их за тени, отбрасываемые дёргающимся пламенем камина. Но когда подошёл ближе и опустился на корточки, то понял: это следы. Пять тонких, параллельных линий, протянувшихся от уровня плеча до самой подушки — примерно на пол-фута, не больше. Словно кто-то провёл ногтями по штукатурке. Не человек с инструментом — не штукатурный нож, не гвоздь. Именно ногти. Человеческие. Женские, судя по ширине следа.

Штукатурка вокруг царапин крошилась, и в трещинах застыла тёмная, бурая пыль — может быть, ржавчина, может быть, кровь.

Линии были не совсем параллельны: две из них сходились книзу, словно рука дёрнулась в агонии. И все пять тянулись вниз, к подушке — туда, где, должно быть, когда-то лежала чья-то голова. Чья-то голова, которую кто-то другой — или что-то другое — тащило прочь от сна, хватая за волосы.

Я отшатнулся и сел на кровать. Пружины снова всхлипнули, но теперь этот звук показался мне почти человеческим — жалобным, испуганным. Я провёл ладонью по лицу и понял, что мои собственные пальцы дрожат.

Это были не просто следы. Это была запись. Хроника.

Минута, выцарапанная в штукатурке ногтями, — короткая, дёрнутая вниз, прервавшаяся в том месте, где ладонь оторвалась от стены. Кто-то цеплялся за неё, пока его отрывали от кровати. Или от жизни.

Я перевёл взгляд на подоконник. Три веточки вереска лежали всё так же — тихо, аккуратно, по одной линии. Но теперь мне казалось, что я знаю, кто их положил. И знаю, что они означают. Не приветствие. Скорее — эпитафию.

Я сидел на кровати в чужом доме, на краю света, среди чужих вещей и чужих следов, и чувствовал, как холод — тот самый, что не имеет отношения к температуре, — медленно, без спешки заполняет меня изнутри.

За окном сгущались сумерки, превращая фьорд в чёрное, непроницаемое зеркало, в котором отражалось только моё собственное лицо. Ветер выл за стенами, и я слышал в его вое что-то новое — не просто стихию, не просто голос северной пустоши. В нём были слова. Или голоса.

Или шаги.

Три шага к окну. Пауза. Три шага обратно.

Я ждал ночи. И боялся её. И знал — так же ясно, как знал своё имя, — что она не обманет моих ожиданий. Ни тех, что были полны страха. Ни тех, что были полны тёмного, запретного, затаённого предвкушения.

ГЛАВА 4. Первая ночь

Я проснулся среди ночи от холода.

Не от того холодка, что проникает под одеяло, когда в доме нет отопления, — это был холод иной породы: тот, к которому одеяло не имеет отношения. Он шёл не из воздуха, а из стен. Из самой кровати. Изнутри кости. Камин погас. Последние угли дотлели давно. Мой выдох поднимался к потолку белым облачком и таял в темноте.

В комнате стояла темнота — не та, к которой привыкает глаз через минуту, начиная различать смутные очертания мебели и бледный прямоугольник окна. Эта не привыкалась.

Она лежала на лице, как мокрая тряпка, и не пропускала ничего — ни отблеска фьорда, ни отражения снега. Я лежал с открытыми глазами и не видел ничего. Только черноту — густую, плотную, живую.

И в этой темноте — шаги.

Шаг. Томительная пауза. Шаг. Снова пауза. Шаг.

Они раздавались наверху — прямо над моей головой. Третий этаж — тот самый, который, по словам старухи, был заколочен. Тот самый, дверь которого, как мне показалось, когда мы проходили мимо по лестнице, была заперта на тяжёлый, ржавый засов. Тот самый, куда я дал себе слово не соваться — и куда меня тянуло с тех пор, как я переступил порог этого дома.

Шаг. Пауза. Шаг.

Пульс отдавался в висках, в горле, в кончиках пальцев, которыми я вцепился в край одеяла. Я лежал и считал про себя эти мерные, ритмичные звуки. Три шага к окну. Пауза — долгая, тяжёлая. Три шага обратно. Снова пауза. И опять — три шага к окну. Снова и снова, словно маятник, не знающий, как остановиться.

Дом молчал. Даже ветер за окном — тот самый ветер, что выл над фьордом, не переставая, с самого моего приезда, — стих. Просто стих, разом, как отрезало. И в этой новой тишине шаги были слышны острее.

Три шага к окну. Пауза. Три шага обратно.

Я пытался убедить себя, что это дом. Просто старый дом, в котором гуляет сквозняк, а половицы скрипят от перепадов температуры. Я повторял это про себя, как мантру, как заклинание против тьмы. «Сквозняк. Перепады температуры. Старое дерево. Усадка фундамента. Ничего сверхъестественного. Просто физика. Просто законы природы».

Но мой внутренний голос звучал фальшиво. Я не верил себе. Потому что шаги были слишком ритмичными. Слишком осмысленными. Слишком человеческими. Никакой сквозняк не ходит так — три шага, пауза, три шага обратно. Никакая усадка фундамента не вздыхает в паузах с тем тихим, почти неуловимым присвистом, который я слышал каждый раз, когда шаги замирали у окна. Словно тот, кто там ходил, останавливался и смотрел вниз, на фьорд. И ждал чего-то, что должно было прийти — но не приходило.

И тогда в голове, помимо воли, всплыли слова таксиста: «Если услышите ночью шаги на третьем этаже — не поднимайтесь. Просто закройте дверь спальни на засов и смотрите в стену. И ни в коем случае не отвечайте, когда вас позовут по имени».

Я не мог пошевелиться. Всё моё тело застыло в том особенном, животном оцепенении, которое древнее разума и сильнее воли. Я лежал и слушал. И чем дольше я слушал, тем отчёт-

ливее мне казалось, что шаги — не наверху. Они — внутри меня. Словно тот, кто ходил, был не над моей головой, а в моей собственной груди. Словно его ритм совпадал с ритмом моего сердца — три удара, пауза, три удара, — и я не мог понять, кто из нас двоих задаёт этот темп.

«Я схожу с ума, — подумал я, и эта мысль была столь же холодна и отчётлива, как звон разбитого стекла. — Я схожу с ума от горя. От одиночества. От того, что больше не слышу её голоса. И теперь мой мозг — мой измученный, раненый мозг — создаёт звуки, которых нет».

Я вспомнил Лисбет. Её шаги. Её лёгкую, быструю, чуть танцующую походку, какой она ходила по нашей квартире — из кухни в гостиную, из гостиной в спальню, из спальни обратно. Она никогда не ходила медленно. Она вечно куда-то спешила, вечно что-то забывала, вечно возвращалась, чтобы поцеловать меня в лоб и сказать: «Я люблю тебя, Джеймс. Я скоро вернусь».

И вот теперь я слышал шаги. Но не её. Другие. Медленные. Тяжёлые. Полные бесконечной, безысходной тоски. И я вдруг с внезапной, физической ясностью понял: если я сейчас поднимусь туда, на третий этаж, — я увижу не призрак. Я увижу себя. Себя, который не умеет отпустить. Себя, который ходит по кругу, как запертый в клетке зверь. Себя, который уже мёртв, но не может перестать двигаться.

Эта мысль была страшнее шагов. Страшнее темноты. Страшнее могильного холода. Я зажмурился так крепко, что перед глазами поплыли красные круги, и приказал себе не слушать. Не думать. Не дышать.

Но шаги всё равно звучали. И им было всё равно, слушаю я или нет. Они были. Они продолжались. И они не собирались заканчиваться.

А потом наступила тишина. Не та, что была между шагами, — короткая, напряжённая. Нет. Настоящая тишина. Полная. Абсолютная. Весь мир — и дом, и ветер, и моё сердце — замер.

И в этой тишине раздался голос.

Тихий, грудной, нежный. Не мужской. И не женский — не в обычном смысле этого слова. Он просто был старым: не в смысле возраста, а в смысле давности. Такой голос не рождается — он накапливается, слой за слоем, как пыль в необитаемых комнатах. Он просочился сквозь дерево, как вода сквозь трещины в старой плотине.

— Не бойся, — прошелестел он. — Я просто проверяю. Ты не он. Пока.

Долгая пауза — в которой я слышал только собственное дыхание.

— Айна.

Не зов. Не объяснение. Просто имя — сказанное тихо, не для меня, как будто произнесённое про себя и случайно просочившееся сквозь дерево вслед за остальным. Шаги удалились по коридору и затихли где-то в глубине дома.

Я пролежал без сна до самого рассвета — боясь пошевелиться, боясь вдохнуть, боясь закрыть глаза, потому что каждый раз, когда веки опускались, я снова видел ту комнату наверху. Тёмную. Заколоченную. И ту, что ходила в ней, — женщину в белом.

Потому что в том голосе, в его интонации, в его тихой, печальной нежности было что-то до боли знакомое. Что-то, что я уже слышал. Не в этом доме. Не в этой стране. А в палате хосписа, когда Лисбет, умирая, просила меня отпустить её. Я слышал в её шёпоте тот же далёкий, отчуждённый отголосок — словно она уже стояла одной ногой на той стороне и говорила оттуда.

Ты не он. Пока.

Я проснулся от того, что серый, бесцветный свет заливал комнату. Не тот свет, что обещает новый день, — нет, это был свет-призрак, сочившийся сквозь запотевшее стекло, словно разбавленное молоко. Лишённый тепла, лишённый цвета, лишённый самой идеи утра. Небо —

низкое, тяжёлое, обложенное тучами, — нехотя уставилось на землю мутным, невыспавшимся взглядом.

Я лежал, не шевелясь, и пытался восстановить в памяти события минувшей ночи. Шаги. Голос. Имя. Всё это казалось теперь зыбким, полустёртым — как сон, который тает при пробуждении, оставляя лишь смутное, липкое послевкусие тревоги. Может быть, это и был сон? Может быть, измученный переездом и собственным горем мозг сыграл со мной злую шутку? Я отчаянно хотел в это верить. Я цеплялся за эту мысль.

Я сел на кровати. Голова была чугунной, в висках стучало. Я провёл ладонью по лицу — пальцы дрожали, кожа была липкой от ночного пота, который ещё не до конца высох. Одеядо сбилось в ногах, простыня подо мной была влажной и мятой.

А потом я перевёл взгляд на подоконник. И замер.

Там лежали уже не три, а четыре веточки вереска.

Я точно помнил: вчера вечером их было три. Я считал. Я стоял над ними и считал — три. Тонкие, лиловые, безмолвные. Теперь же, в этом сером, унылом свете, на вытертом дереве подоконника их лежало четыре — рядом, на равном расстоянии друг от друга, словно кто-то выложил их по линейке с той же ритуальной, бесстрастной аккуратностью, с какой возлагают цветы на могильную плиту. Четвёртая веточка была чуть тоньше остальных и чуть светлее — словно её сорвали позже, словно она была моложе.

Первая моя мысль была — отрицание. Глупое, слепое, отчаянное. «Этого не может быть. Я ошибаюсь. Я вчера плохо считал. Я был уставший. Мне показалось».

Я встал и подошёл к окну. Веточки лежали всё так же неподвижно. Их крошечные цветки, похожие на засохшие капли крови, были покрыты тончайшим слоем пылицы — не той, что собирается за ночь, а той, что бывает на свежесорванных растениях. Я протянул палец и осторожно, словно боясь обжечься, коснулся четвёртой веточки. Она была прохладной. И она была настоящей.

Пальцы ещё лежали на веточке, когда я заметил другое.

Не сразу. Глаз сначала прошёл мимо — как проходит мимо трещины в стене, ставшей привычной. Дерево подоконника было старым, потемневшим до цвета дублёной кожи, и в тусклом утреннем свете казалось однородным. Но когда я наклонился ближе — за вереском, за его жёсткими стеблями, ближе к раме, — я различил борозды.

Их было пять. Нет — шесть. Неровные, разной глубины, прорезанные чем-то острым — лезвием или кончиком ножа. Буквы. Не вырезанные, а процарапанные: тот, кто это делал, давил с силой, но рука шла неровно, и дерево местами лопнуло вдоль волокон, как бывает, когда режут поперёк. Стружка давно истёрлась; края борозд были гладкими от времени, отполированными сотнями прикосновений — пыли, влаги, чьих-то пальцев.

АЙНА

Заглавные. Латиница. Буква «А» — дважды, и обе были крупнее остальных, выведены с нажимом, от которого в дереве остались тёмные, вьёвшиеся следы. Буква «Н» — чуть мельче, торопливее, будто руку повело. Я провёл по надписи подушечкой указательного пальца — медленно, от первой буквы к последней. Борозды были неглубокие, в толщину ногтя, но отчётливые: дерево помнило касание лезвия так, как кожа помнит шрам.

Имя. То самое, что произнёс голос ночью. Или не произнёс — я уже не знал, что из ночного принадлежало мне, а что дому. Но вот дерево. Дерево не придумаешь. Дерево не приносится.

Ниже — ещё одна строка.

Я не разобрал её сразу. Там тоже были буквы — того же почерка, той же глубины, — но кто-то замазал их. Чем-то тёмным, бурым, вьевшимся в древесину. Не краской. Краска легла бы поверх, ровным слоем; это было другое — оно впиталось, вошло в волокна, стало частью дерева. Я поскрёб ногтем. Вещество не поддалось. Оно было сухим, твёрдым, давно окаменевшим. Из-под ногтя посыпалась бурая пыль — мелкая, невесомая.

Я отдёрнул руку.

Под тёмным слоем угадывались очертания: вертикальная линия, изгиб — может быть, «R», может быть, «B» — и дальше ничего. Остальное было скрыто плотно, старательно, в несколько слоёв, точно тот, кто замазывал, возвращался не раз. Первая буква проступала бледным абрисом — и только потому, что вещество в этом месте легло тоньше, неравномерно. Словно рука, закрывавшая имя, не хотела начинать.

Я стоял над подоконником и смотрел на две строки — одну открытую, другую погребённую. Айна — и кто-то, чьё имя было вычеркнуто не ластиком, не зачёркиванием, а чем-то, что раньше было жидким. Чем-то, что впитывается и не смывается. У меня было предположение о природе этого вещества, и оно было из тех, которые лучше не произносить вслух на пустой желудок в чужом доме, где за ночь прибавляются ветки на подоконнике и ходят по заколоченным этажам.

Я не стал его произносить. Даже про себя.

Вторая мысль — объяснение. Я заметался в поисках разумной, логичной причины. «Фру Кари. Она заходила утром. Она могла подложить ещё одну. Может быть, это местная традиция. Может быть, это часть какого-то ритуала гостеприимства — по одной веточке за каждую проведённую ночь».

Я ухватился за эту версию. Она была спасительной. Она позволяла мне сохранить остатки рассудка и не думать о том, что я слышал ночью — шаги, голос, имя. Но глубоко внутри, в том тёмном, подвальном этаже моей души, куда я старался не спускаться, я знал: фру Кари не заходила. Дверь была заперта изнутри. Я сам закрыл её на щеколду перед тем, как лечь — я помнил это так же ясно, как помнил свой страх. Никто не входил. И никто не выходил.

Третья мысль была самой страшной. И я не дал ей оформиться. Я отогнал её, как отгоняют слишком опасную догадку, которая, если её впустить, разрушит всё — и остатки разума, и остатки воли, и ту тонкую, дрожащую надежду, что всё это можно списать на усталость.

Я оделся. Медленно, методично, как автомат. Застегнул пуговицы, поправил воротник. Каждое привычное, механическое действие возвращало меня в реальность — в ту реальность, где нет шагов по ночам, нет веточек, появляющихся из ниоткуда, нет голосов, сочащихся сквозь дерево. Где смерть — это просто смерть, а горе — это просто горе, и ни то, ни другое не имеет привычки ходить по заколоченным этажам.

Но когда я уже взялся за дверную ручку, я остановился. И обернулся к подоконнику. Четыре веточки лежали всё так же. Они не исчезли. Они не оказались галлюцинацией. Они были здесь.

Я должен был поговорить с фру Кари. Не просто обменяться любезностями за утренним чаем. Потребовать прямых ответов. Кто ходит наверху. Кто положил вереск. Почему именно эта комната. И что значит имя, которое голос произнёс под конец — тихо, не для меня, словно обращаясь к тому, кого в комнате не было.

Я резко выдохнул, расправил плечи и толкнул дверь. Коридор встретил меня всё тем же холодом, всё той же пыльной, застоявшейся тишиной. Где-то внизу, в гостиной, потрескивал камин.

Вместе с запахом дыма в нос мне ударило что-то ещё — горькое, медовое, неустрашимое. Вереск.

ГЛАВА 5. Найдёныш

Я спустился в гостиную, когда серое утро ещё только набирало силу — или, вернее, ту бледную тень силы, на какую способен ноябрьский рассвет на краю света. Ступени лестницы скрипели подо мной с той усталой, неблагоприятной интонацией, с какой старый слуга встречает хозяина: не из почтения, а по привычке, выработанной десятилетиями. В воздухе всё ещё стоял вчерашний запах — сухой вереск, пыль, остывший дым, — но к нему примешивалось что-то новое: слабое, домашнее, едва уловимое. Запах свежесваренного чая.

Фру Кари сидела в том же кресле у камина, в каком я оставил её накануне, — или, быть может, вовсе не покидала его. Спина прямая. Голова чуть склонена к плечу. Руки мерно двигались: спицы в её длинных, узловатых пальцах поблёскивали в свете пламени, как две тонкие серебристые иглы. На коленях у неё лежало вязание — серое, бесформенное, под цвет неба за окном.

Услышав мои шаги, она не обернулась. Только руки её на мгновение замерли, и в наступившей тишине я услышал, как в камине с тихим, влажным шипением лопается смоляной карман в сосновом полене.

— Вы не спали, — произнесла она.

Это был не вопрос. Утверждение, высказанное с той тихой уверенностью, какая говорит: она знала, что так будет, и ждала меня здесь именно поэтому.

— Нет, — ответил я. Голос мой прозвучал хрипло, надтреснуто, словно я не спал не одну ночь, а несколько кряду. — Я слышал шаги. Слышал голос, который назвал меня по имени. Я хочу понять.

Я сам удивился твёрдости, прозвучавшей в этих словах. Ещё час назад, лёжа в постели и глядя на четыре веточки вереска, разложенные на подоконнике с осмысленной аккуратностью, я не был уверен, что решусь на этот разговор. Но теперь, стоя перед нею — перед этой молчаливой, нечеловечески спокойной женщиной, чьи бледные глаза напоминали выцветший от стирок ситец, — я почувствовал, как во мне поднимается холодная, отчаянная решимость. Я больше не мог оставаться в неведении. Неведение в этом доме оказалось опаснее любой правды.

Фру Кари медленно отложила вязание. Спицы коротко звякнули, коснувшись друг друга. Она потянулась за чайником — старым, пузатым, с отбитым носиком — и налила в две чашки, стоявшие перед нею. Полную пододвинула мне коротким, скупым, точным движением, не расплескав ни капли. Вторую — себе.

Только тогда я заметил, что на столе стоит третья чашка.

Она стояла на дальнем краю, не передо мной и не перед ней, а напротив пустого стула — стула, на котором этой ночью никто не сидел и сидеть не мог. Чашка была того же тёмно-синего фарфора, что и две другие, — с тонкой золотой каёмкой, местами сошедшей. Внутри неё было пусто. Или, точнее: внутри неё что-то поблёскивало на самом дне — тонкая, неровная плёнка влаги, не похожая ни на чай, ни на воду, а скорее на нечто, что не успело высохнуть. Словно из чашки только что отпили.

Я подавил вопрос. Не сейчас.

— Садитесь, мистер Нэш, — сказала она, указывая на кресло напротив. — Чай горяч. То, что я намерена доверить вам, не та история, которую слушают на ногах.

Я опустился в кресло. Оно было жёстким, обивка вытерта до самой основы, но сидеть в нём оказалось неожиданно... правильно. Словно эта ткань помнила форму каждого, кто сидел здесь до меня, — и принимала меня в ту же выщербленную, привычную ей лунку.

Я взял чашку. Напиток был тёмным, почти непроглядным, и пах не столько чаем, сколько самой почвой: горький, терпкий, с глубинным землистым отзвуком. Вереск. И что-то ещё —

можжевельник? полынь? — то, в чём я не сумел разобраться. Я никогда не был учеником трав. Лисбет узнала бы этот запах с первого вдоха. Она знала каждое растение в лицо, называла их по именам, как старых, капризных друзей.

Лисбет.

Нет. Не сейчас.

Фру Кари взяла вторую спицу и снова склонилась над вязанием — но не стала вязать. Просто держала их обе, сложив крест-накрест. Я заметил, что пальцы её дрожат. Не от холода: у камина было достаточно тепла. Это была другая дрожь — та, что идёт изнутри, из той узкой кладовой памяти, где запас открывается редко и неохотно. К старой ране. К незаживающей.

— Вы хотите знать, кто ходит по ночам, — произнесла она. — Кто положил вереск на ваш подоконник. Что значит «ты не он, пока».

— Да.

Она подняла на меня глаза. Бледно-голубые, выцветшие, они смотрели сквозь меня — или, вернее, сквозь время; словно я был не человеком, не приезжим, не нанимателем её услуг, а лишь очередной страницей в книге, которую она перечитывала уже много десятилетий, узнавая знакомые места и заранее зная, чем кончится глава.

— В этом доме, мистер Нэш, — сказала она, и каждое слово падало медленно и тяжело, как капля расплавленного воска, — живут не только те, кого можно увидеть. Живут те, кто ушёл, но не сумел уйти до конца. Одна из них ходит ночами.

— Кто?

Её руки дрогнули. Она чуть не выронила спицу, сжала пальцы — костяшки побелели, натянув тонкую кожу. Когда она заговорила вновь, голос её стал тише.

— Айна. Моя бывшая хозяйка. Женщина с портрета. Она всегда ходит, когда в доме ночует новый мужчина. Проверяет.

— Что ищет?

— Его, — сказала фру Кари. — Того, кто ушёл. Того, чьё имя — Рун.

Она произнесла это имя — короткое, резкое, схожее со звуком удара камня о камень, — и в комнате будто стало холоднее. Языки пламени в камине прижались к углям. За окном, над фьордом, прокатился порыв ветра, и стёкла задребезжали в старых рамах. Где-то наверху, на третьем этаже, скрипнула половица — один раз, тихо. Словно та, что ходила, услышала своё имя и замерла, прислушиваясь.

Фру Кари медленно отпила из своей чашки. Третья чашка на дальнем краю стола стояла нетронутой. Влага на её дне больше не блестела — то ли впиталась, то ли я обманулся в утреннем свете.

— Расскажите мне, — попросил я, и голос мой прозвучал глухо, будто из-под воды. — С самого начала. Я не смогу оставаться в этом доме, не понимая, кто здесь жил, кого любили, кого похоронили — и кого, как мне всё чаще кажется, похоронили не до конца. Расскажите о них обо всех: о ней, о нём, об этом доме, который слушает нас сейчас и слышит каждое моё слово так же ясно, как я сам.

Я сказал это и сам удивился тому, как складно у меня получилось, — как у писателя, давно привыкшего складывать свою растерянность в окончательные фразы. Лисбет посмеялась бы. Она говорила, что я не умею просить — только формулировать. Что у меня и горе выходит со сносками. Я отогнал эту мысль; она пришла раньше, чем следовало.

Фру Кари посмотрела на меня долго. Так смотрят на хлеб, проверяя, поспел ли. Потом отложила спицы — на этот раз окончательно — и положила обе ладони на колени, одну поверх другой. И заговорила.

— Зима была лютая.

Она сказала это, и я понял, что в комнате что-то сдвинулось.

Голос её стал другим. Не торжественнее — наоборот. Скупее. Из него ушли все подсобные слова, какими обычно перекладывают одну фразу к другой, чтобы не вышло уступа. Не осталось ни «словно», ни «как бы», ни «казалось». Остались только существительные и глаголы — и короткие, плотные паузы между ними, в которые я падал, как в выбоины на зимней дороге.

— В тот год фьорд встал до самого дна. Овцы померзли в загонах. У соседей, в Веттебю, волки задрали трёх лошадей прямо во дворе — через ограду перемахнули. Хозяин уехал на охоту под вечер. Один. С ним был только Бьёрн, старший работник. Они должны были вернуться засветло. Не вернулись.

Она помолчала. Посмотрела в огонь. Огонь посмотрел на неё в ответ.

— Айне было семь. Мне — девятнадцать. Я была на кухне второй год. Помню: госпожа — её мать, та ещё была жива тогда — ходила от окна к окну. Не молилась. Просто ходила. Айна сидела у меня под ногами и щипала тесто. Я её не гнала.

Я слушал и не пил. Чашка остывала у меня в руках.

— Привезли его за полночь. Бьёрн правил санями, хозяин шёл рядом и вёл лошадь под уздцы. На санях лежал тук. Я думала: дичь. Хозяин охотник был жадный, иначе бы вернулся ещё до сумерек. Когда они вошли во двор, я уже стояла на крыльце с фонарём. Госпожа за моей спиной. Айна — между нами, в одной ночной рубашке, босая.

Фру Кари усмехнулась — одними губами, без воздуха.

— Я её хотела увести в дом. Но она проскользнула под рукой и сбежала по ступенькам в снег. Никто и слова сказать не успел.

— И что было в санях?

— Не дичь.

Она сделала ещё глоток. Чашка стукнула о блюдо с тем коротким, точным звуком, какой бывает у вещей, простоявших долго на одном месте и потому знающих своё место наизусть.

— Хозяин стряхнул шкуру. Под шкурой лежал мальчик. Маленький — года четыре, может, пять. Грязный, как земля, и от земли почти не отличимый. Одна щека обморожена до черноты. Волосы свалившиеся, в них репы. Одежды на нём, считай, не было — какие-то лохмотья из звериной шкуры, связанные сухожилием. Я подумала сначала: помер. Но он дышал. Тихо, как дышат загнанные кошки, — короткими, частыми вдохами.

«Нашёл в расщелине, у Старухиногo Зуба», — сказал хозяин. Голос у него был сел — то ли от мороза, то ли от того, что он там увидел. «Пещера была. Старая. Логово. Сидел один, среди обглоданных костей. Ни отца. Ни матери. Говорить не умеет. Мычит, как звереныш. К утру помер бы».

— И тогда вышла Айна.

Фру Кари сказала это так, словно ставила точку перед новым абзацем — но не объясняла, что значит этот абзац. Я ждал.

— В одной ночной рубашке. Платка не было — да и не дала бы она его себе на голову намотать. Семь лет, мистер Нэш. Семь. Она прошла мимо госпожи, мимо меня, мимо хозяина. Работники расступились. Не из почтения — её в доме никто особо не почитал, своевольная была, отец её и пальцем не трогал, но любить — не любил. Расступились, потому что не знали, что ещё делать. Она шла так, как ходят к чужому колодцу: точно зная дорогу, хотя дороги никто не показывал.

— Подошла к мальчику. Встала над ним. Долго смотрела. И он на неё посмотрел.

Фру Кари замолчала. И, против своей привычки, подняла взгляд на меня.

— Я тогда впервые увидела эти глаза, мистер Нэш. Чёрные. Я и сейчас, как закрою свои, — вижу те. У ребёнка таких глаз не бывает. У человека, может, и бывает — но не в четыре года. У кого-то, кто долго пробыл там, где света нет, — у того бывает. Вот и у него были такие.

— Они смотрели друг на друга, — продолжила она, — может, минуту. Может, дольше. У нас всех — у меня, у госпожи, у работников — будто кто-то положил ладонь на затылок и наклонил голову. Не дышали.

— Потом Айна спросила: «Как тебя зовут?»

— Он не ответил. Я думала — оттого, что говорить не умеет. Хозяин уже сказал: мычит, как зверь. Но он не оттого молчал. Он разжал кулак.

Фру Кари развела пальцы своей правой руки, медленно, по одному, словно сама проверяя: разжимаются ли. Они разжались.

— На ладони у него лежал камень. Чёрный обломок сланца, с палец длиной. На нём был выцарапан знак. Кто-то — может, он сам, может, кто другой до него — нацарапал на этом сланце руну. Корявую, неровную, но это была руна.

Она помолчала, словно сверяя память с тем, что произнесла.

— Айна посмотрела на камень. Долго. Потом сказала: «Рун. Его будут звать Рун». И прибавила: «Это моя находка, отец. Он будет жить со мной».

— Хозяин ничего не ответил. Он был охотник. Он только что вернулся с охоты с непонятной добычей; он понимал в дичи, в собаках, в винтовке, но в этом — не понимал. А когда человек чего-то не понимает, он либо бьёт, либо молчит. В тот раз — молчал. И тогда Айна протянула мальчику руку.

— И он её взял.

— И уже не отпустил, мистер Нэш, пока она вела его в дом. До самой двери. На пороге, помню, он на миг приостановился — я подумала, испугался порога, есть такие звери, что не переступают порога, — но Айна потянула, и он шагнул. И вошёл.

Фру Кари выпрямилась в кресле. Спина её всегда была прямой, но в этот миг она стала прямой иначе — так держат спину перед чем-то, чему всё равно проиграешь, но проиграть нужно достойно.

— Я была за ними. Я закрыла за ним дверь.

Она посмотрела на меня. Посмотрела ясно, без той пелены, что лежала на её глазах ещё минуту назад.

— Я думала тогда: ну, ещё одна сирота. Хозяин таких подбирал и до, и после. Мальчишку приставят к скоту, через год отдадут в подпаски, через пять — он сам уйдёт. Так у нас бывало. Я думала: дверь хлопнулась — и дело сделано.

— Я ошиблась, мистер Нэш. Я закрыла за ним не дверь. Я закрыла снаружи всех остальных. И тех, кто стоял рядом. И тех, кто пришёл бы после. Аину я закрыла внутри — с ним. На двадцать с лишним лет. И ключа не нашлось.

Она протянула руку и тронула связку у себя на поясе — короткое, привычное движение, без нажима, проверка. Ключи коротко лязгнули.

— Вот так он появился, — сказала она. — Рун. Найдёныш. С того дня в этом доме всё пошло наперекосяк. Только мы тогда этого не знали. Мы думали — сирота. Мы не знали, что вместе с ним вошло.

В камине осыпался уголь. Снаружи, над фьордом, опять прошёл ветер, и стёкла снова коротко звякнули в рамах. Я взглянул на свою чашку. Чай в ней остыл — затянулся той тонкой маслянистой плёнкой, какая бывает на воде осенью, перед самым льдом.

Третья чашка по-прежнему стояла на дальнем краю стола.

Её дно блестело.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВЕРЕСК И КАМЕНЬ

ГЛАВА 6. Изгнание

В то лето, продолжила фру Кари, и голос её, минуту назад ещё тёплый, сделался ниже, как делается ниже голос у женщины, что готовится говорить о покойнике, — в то лето вереск на пустошах вышел особенно густым. Земля, отлежавшая зиму под снегом и ветром, разродилась лиловым, и лиловым стояли холмы до самого изгиба фьорда. Пчёлы гудели в нагретом воздухе так, что у меня сладко закладывало уши, когда я шла за водой. Небо было синее, высокое, какое у нас на севере бывает раз в десять лет, — и старухи в деревне крестились, говоря, что за такое лето платят бедой.

Платили, мистер Нэш. Заплатили сполна.

В то лето их было не разлучить.

Они уходили из дому затемно, пока роса ещё лежала на траве серебром, а возвращались, когда солнце сваливалось к фьорду и тени от скал делались длинными и синими, как пролитые чернила. Я поднималась иногда на холм у старой кирки — там, где земля сухая и ветер не такой колкий, — и видела их сверху: две точки, две перебежки в вереске. Айна, как всегда, бежала первой. Её чёрные волосы развевались за плечами — далеко было видно, как пятно сажи на чистом полотне. А Рун держался за ней — не отставая, не обгоняя. Так нитка ходит за иглой в добром, крепком стежке: не вырвешь, пока не порвёшь самой ткани. Я тогда уже понимала, что ткань рваться будет. Не понимала только — какая.

Почему она так прикипела к нему, мистер Нэш? Я задавала себе этот вопрос много раз. И тогда, в те долгие летние дни, когда поднимала глаза от стирки и видела в окно их две фигуры на пустоши. И позже, когда уже всё случилось и поправить было нечего. Почему дочь землевладельца, девочка гордая, своенравная, привыкшая к чистым простыням и крахмальным воротничкам, — почему она прикипела к дикому, безъязыкому найдёнышу, от которого ещё месяцами потом пахло псиной и кострищем?

Фру Кари помолчала. Спицы лежали у неё на коленях; в этот раз она их не подняла.

— Я думаю, — сказала она наконец, — она признала его. Так признают своих. Не сердцем — кровью. Не разумом — нутром. Айна тоже была дикая, мистер Нэш. Под всеми этими гребнями и шнуровками, под уроками французского и тёткиными причитаниями — дикая, как пустошь за домом. И когда отец привёз ей этого мальчишку — грязного, нелюдимого, с теми чёрными, бездонными глазами, в которых уже горел его огонь, — она узнала в нём то, чего сама в себе боялась. И простить ему этого не могла. Как не прощают зеркалу того, что оно показывает.

Она перевела дух. Подняла на меня глаза — выцветшие, северные, не выдающие ничего лишнего.

— А может, всё проще. Может, она просто была одна. А одиночество, мистер Нэш, в этих местах хуже волка. Волк хоть честно подходит к овчарне. А одиночество — оно подходит изнутри.

Они нашли себе угол. Старый пастуший шалаш в ложине между двух скал — Стражами их зовут у нас, и не я выбираю названия. Скалы стоят, как два каменных мужика, плечом к плечу, и между ними, в укрытии от северного ветра, когда-то держал летнее стадо старик Сивер, дед мой по матери. Он умер ещё до моего сватовства. Шалаш остался — сложенный из замшелых валунов, крытый дёрном, осевший набок, как осевший пьяница у плетня. Дверной

проём — два камня и третий поверху. Внутри пахло мхом, лежалой шерстью и тем особенным, пыльным запахом нежилых мест, где когда-то жили долго.

Им того и надо было. Они не комфорта искали. Они искали угла, куда не доходит чужой глаз: ни господина с его разговорами о долгах и партиях, ни тётки с её охами, ни моих — я ведь тоже искала их, мистер Нэш, не спорю; я думала, что караулю, а на деле — мешала. Это был их двор. Их малое хозяйство. Их двое — и больше никого. Только двое. Только вереск. Только ветер.

Айна плела венки. У неё к этому делу руки лежали — она и за иголку садилась с тем же азартом, с каким бегала по скалам: чтобы скорее, чтобы громче, чтобы лучше всех. Сплетёт — и нахлобучит Руну на голову. Венок был ему велик, сползал на глаза, цеплялся за уши. «Ты похож на лешего!» — хохотала она, и смех её звонкий, переливчатый, далеко разносился над пустошью, поднимая дроздов с кустов. А он сидел смирно, и в чёрных глазах его теплился тот самый свет — тихий, низкий, человеческий: я его видела только у него, и только когда он смотрел на неё. На других он так не смотрел. На меня — никогда.

Он же резал ей зверьков. Из коряг, прибитых фьордом к берегу, из подобранных в лесу обломков. Пальцы у него для его лет были взрослые, ловкие, с короткими крепкими ногтями. А нож — тот самый нож, единственное, что он попросил у конюха Гудбранда, и старик дал ему его не глядя, как дают хлеб или соль, без расспросов, — нож этот ходил у него в руке так же ровно, как игла у меня в руке, когда я штопаю на ощупь, в сумерках, не пропуская стежка. Птицу с расправленными крыльями. Оленя с ветвистыми рогами. Волка с оскаленной пастью. Каждую фигурку он молча протягивал ей, а она брала — не как девочка, что играет в куклы, а как берут подарок в красном углу, перед образами. С тем же почтением.

Я их собирала потом, эти фигурки. Уже после всего. Они лежали по углам её комнаты — на подоконнике, в шкапулке, под подушкой, в кармане одного платья. Маленькое лесное стадо, оставленное хозяином, который не вернётся.

Был один день, мистер Нэш, в самый разгар того лета. Жара тогда стояла такая, что даже море казалось расплавленным оловом, а коровы у нас в полдень переставали есть и стояли с закрытыми глазами, отгоняя слепней хвостом. Я шла мимо лощины с корзиной для хвороста — хотя хворост-то у меня был, мне просто хотелось пройти мимо. Не скрою. Я подошла ближе их шалаша и встала за выступом — не из злого умысла, мистер Нэш, а потому, что мать должна знать, что делает её дитя, даже если она и не родная мать. Я слушала. И увидела то, что увидела.

Они сидели на мшистой кочке у входа. Айна плела очередной венок, но в тот день у неё что-то не клеилось — она бросала его, начинала заново, бросала снова. Рун лежал рядом, головой у неё на коленях, и смотрел вверх. Лицо у него — обычно замкнутое, как заколоченное окно, — в тот день было разглажено. Я никогда такого его лица больше не видела. И, признаюсь, рада, что не видела.

— Когда я вырасту, — говорила Айна, и в голосе её звенела та мечтательная тоска, что была у неё ещё с семи лет, — я уеду отсюда. Далекo. Туда, где всегда тепло. Где растут пальмы. А море синее, синее, а не это серое зеркало, в котором даже неба не разглядишь.

— Я с тобой, — сказал Рун.

Он сказал это просто. Без вопроса, без надежды на возражение. Так в наших местах говорят о погоде: «дождь будет», «снег пойдёт». Так говорят о вещах, которые ещё не случились, но уже решены.

Он к тому времени, мистер Нэш, уже говорил. Не гладко — глухо, с запинками, с тем низким, утробным голосом, каким, мне иногда казалось, могла бы говорить сама земля, если бы у неё прорезался язык. Айна выучила его за два года — с той же упрямой ненасытностью, с какой брала всё, что ей нравилось. Часами сидела с ним: «чаш-ка», «ка-мень», «вереск». «Скажи: Кари». «Ка-ри». «Скажи: Айна». — «Айна». На своём имени он впервые улыб-

нулся, я помню. И на её имени, кажется, выучился любить — потому что других слов он любить не умел.

— Конечно, со мной, — Айна засмеялась и, бросив венок, ущипнула его за ухо. — Куда ты без меня, глупый. Пропадёшь. Ты даже до деревни дорогу не найдёшь.

— Найду, — сказал он серьёзно. — Я всё найду. Я тебя везде найду.

Айна замерла. Я видела через траву, как её лицо — молодое, живое, всё ещё с детской припухлостью под скулой — стало вдруг тихим. Подобралось. Так подбирается лицо у человека, который услышал не то, что ему сказали, а то, что за этим стоит.

— Обещаешь? — спросила она. И голос её, прежде звонкий, дрогнул. — Что всегда меня найдёшь? Не потеряешь? Не бросишь?

— Обещаю.

Он сказал это, мистер Нэш, не как дети обещают друг другу клад зарыть или вырасти и пожениться. Он сказал это так, как у нас в деревне старики ставят подпись под закладной: один раз, через всю жизнь, и обратно не возьмёшь.

— Смотри у меня, — она погрозила ему пальцем, силясь вернуть тот лёгкий тон, что был у них минуту назад. Не получалось. — Обманешь — сама найду. Уши надеру.

Он помолчал. Потом сказал:

— Ты мой вереск.

Айна перестала смеяться.

— Что?

— Ты пахнешь вереском, — он говорил медленно, выбирая слова, как выбирают сухие сучья для растопки, — на каждый дорожке золота. — И ты горькая. И красивая. И ты... — он сдвинул брови, силясь поймать то, что хотел сказать. — Ты растёшь там, где никто не растёт.

Я стояла за камнем, не смея вздохнуть. Корзина была у меня в руке, и я чувствовала, как ивовые прутья врезаются мне в ладонь, оставляя след. Я не заметила боли тогда. Я и сейчас, мистер Нэш, тот след помню.

Это была не дружба, сказала я себе. Это была не привязанность сироты к той, что подала ему руку. Это было то, чему у нас в деревне не было имени, а в книгах было, но мне те книги не давались. Это было то, что не разрывают и не растят. Оно растёт само. Как вереск на камне. Где нечему расти.

Тут фру Кари оторвала взгляд от огня и посмотрела на меня в упор. Чашка, которую она поставила третьей, — пустая, с тёмным влажным дном, — стояла на столе ровно между нами, и я опять подавил вопрос. Она наклонилась к чайнику, налила себе ещё, и я заметил, как у неё дрожит рука — не больше, чем рябь от ветра на поверхности воды, но дрожит. Я отвёл глаза. Не из деликатности. Просто потому, что в этот миг мне показалось — мне это правда показалось, мистер Нэш, я тогда ещё многое списывал на воображение, — что в чашке напротив неё подрагивает чай. Хотя никто из него не пил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.